





Purchased for the

Library of the

UNIVERSITY OF TORONTO

from the

KATHLEEN MADILL BEQUEST





BOCHOMNHAHIA

И

ОТРЫВКИ.

RUSSIAN REPRINT SERIES

edited by

ALEXANDRE V. SOLOVIEV
Professeur Honoraire
de l'Université de Genève

with the assistance of

ALAN KIMBALL Instructor in History Stanford University Stanford, Cal., U.S.A.

XLIV



EUROPE PRINTING THE HAGUE 1967

Н. Страховъ.

воспоминанія и отрывки.

Асонъ. — Италія. — Крымъ. — Л. Н. Толстой. — Справедливость, милосердіе и святость. — Последній изъ идеалистовъ. — Стихотворенія.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Типографія бр. Пантелеевыхъ. Верейская, 10. 1892.

Того же автора.

Міра кака цилов. Ивд. второв, испр. и дополи. Спб. 1892. Замптки о Пушкини и других поэтахь. Спб. 1888. О вычных истинах (мой споръ о спиритиям). Спо. 1887. Объ основных понятих психологи и физіологи. Спо. 1886. Критическия статьи объ И. С. Тургеневь и Л. Н Толстомъ. (1862—1865). Изданів второв. Спо. 1887.

Борьба съ Западомъ съ нашей литературъ. Книжка персав. Изданіе второс. (Герцевъ. — Мялаь. — Парежская Коммуна. — Ренанъ. — Историки безъ принцяповъ. — Штраусъ. — Поминен по И. С. Аксаковъ). Спб.

Борьба съ Западомъ въ нашей литературь. Книжка вторая. Изданіе второе. (Ходъ нашей литературы, вачинан отъ Ломоносова. - Роковой вопросъ. - Наша культура и всемірное единство. - Дарвинъ. - Полное опроверженіе даринняма). Спб. 1890.

Ивь исторіи литературнаго нигилизма (1861—1865). Спб. 1890. Видность нашей литературы. Кригическій и историческій очеркь.

Спб. 1867.

О методъ естественных в наукъ и значении ихъ въ общемъ обраво-вания. Спб. 1865.



Printed in the Netherlands

Составъ этой книжки, довольно разнообразный, имфеть, однако, нфкоторую внутреннюю связь: сюда вошли статьи, касающіяся вопросовъ нравственности и эстетики, и въ концъ книжкинебольшія попытки художественнаго писанія. Къ этимъ попыткамъ, большею частію уже давнихъ льть, надыюсь, читатели будуть снисходительны и не стануть подозрѣвать во мнѣ большихъ притязаній. Въ душт поэтовъ творчество горить яркимъ пламенемъ, но искра такого пламени часто теплится и въ другихъ людяхъ. Настоящимъ поводомъ къ изданію этой книжки было желаніе представить вновь читателямъ двъ-три статьи, уже напечатанныя, но, въ моихъ глазахъ, болве другихъ заслуживающія перепечатки. Журналистика похожа на широкую и шумно текущую ръку, образуемую множествомъ притоковъ; но теченіе ея чрезвычайно короткое: она быстро впадаеть въ Лету и ежедневно уносить туда не только то, что прямо для этого поглощенія и пишется, но вмѣстѣ и то, что пишется съ надеждою на болбе долгое существованіе.

18-го окт.

H. C.



Оглавленіе.

Стра	ìН.
І. Воспоминаніе о потадкт на Авонъ (1881 г.).	1
II. Изъ поъздви въ Италію (въ 1875 г.)	49
Ш. Два письма изъ Рима (къ А. Н. Майкову)	
Письмо перное	87
Письмо второе	95
IV. Крымскія впечативнія (1869 г.) І · · · . 1	05
	21
V. Ночь на Днъпръ. Картина Куинджи. (1881) · 1	21
	.31
	33
	39
	46
	[5]
	55
	59
	64
	.69 .73
	79
	85
VIII. Справедливость, милосердіе и святость (1892) 1	99
	003
II. Справедливость	203
III. Милосердіе	206
IV. Святость	211
ІХ. Теорія благополучія. По поводу трехъ романовъ	
М. В. Авдиева (1869)	217
Х. Поминен по Аполлонъ Григорьевъ (1889) . 2	45
XI. Посленній изъ идеалистовъ. Отрывовъ изъ	
ненаписанной повъсти. (1866)	257

XII. Стихотворенія. 297 Комета. (По случаю кометы Донати) 297 Грезы 299 «Несчастны мы» 300 Юность 301 Заботы 302 Жизнь 303 Міръ 304 «Не вѣрь себѣ» 306 Е. Е. 306 Воробьевскій паркъ 307 Эстетику 308 Е. Е. 308 Ночь 308 Жалоба 310 Изъ «Идеаловъ» Шиллера 311 Воспоминаніе 312 Извиненіе 312 Извиненіе 312	WII	Company	Стран.	
Грезы 299 «Несчастны мы» 300 Юность 301 Заботы 302 Жизнь 303 Міръ 304 «Не вёрь себё» 305 Е. Е. 306 Воробьевскій паркъ 307 Эстетнку 307 Поэту 308 Е. Е. 308 Ночь 308 Жалоба 310 Изъ «Идеаловъ» Шиллера 311 Воспоминаніе 312 Извиненіе 312	AII.	Стихотворенія.		
«Несчастны мы» 300 Юность 301 Заботы 302 Жизнь 303 міръ 304 «Не вёрь себѣ» 305 Е. Е. 306 Воробьевскій паркъ 307 Эстетику 307 Поэту 308 Е. Е. 308 Ночь 308 Жалоба 310 Изъ «Идеаловъ» Шиллера 311 Воспоминаніе 312 Извиненіе 312		Комета. (По случаю кометы Донати)	. 297	r
Юность 301 Заботы 302 Жизнь 303 Міръ 304 «Не вйрь себв» 305 Е. Е. 306 Воробьевскій паркъ 307 Эстетику 307 Поэту 308 Е. Е. 308 Ночь 308 Жалоба 310 Изъ «Идеаловъ» Шиллера 311 Воспоминаніе 312 Извиненіе 312		Грезы	299)
Юность 301 Заботы 302 Жизнь 303 Міръ 304 «Не вйрь себв» 305 Е. Е. 306 Воробьевскій паркъ 307 Эстетику 307 Поэту 308 Е. Е. 308 Ночь 308 Жалоба 310 Изъ «Идеаловъ» Шиллера 311 Воспоминаніе 312 Извиненіе 312		«Несчастны мы»	. 300)
Заботы 302 Жизнь 303 Міръ 304 «Не върь себъ» 305 Е. Е. 306 Воробьевскій паркъ 307 Эстетику 307 Поэту 308 Е. Е. 308 Ночь 308 Жалоба 310 Изъ «Идеаловъ» Шиллера 311 Воспоминаніе 312 Извиненіе 312		Юность		
Жизнь 303 Міръ 304 «Не върь себъ» 305 Е. Е. 306 Воробьевскій паркъ 307 Эстетику 307 Поэту 308 Е. Е. 308 Ночь 308 Жалоба 310 Иять «Идеаловъ» Шиллера 311 Воспоминаніе 312 Извиненіе 312				
Міръ 304 «Не върь себъ» 305 Е. Е. 306 Воробьевскій паркъ 307 Эстетвку 307 Поэту 308 Е. Е. 308 Ночь 308 Жалоба 310 Иять «Идеаловъ» Шиллера 311 Воспоминаніе 312 Извиненіе 312				-
«Не върь себъ» 305 Е. Е. 306 Воробьевскій паркъ 307 Эстетику 307 Поэту 308 Е. Е. 308 Ночь 308 Жалоба 310 Изъ «Идеаловъ» Шиллера 311 Воспоминаніе 312 Извиненіе 312				
E. E. 306 E. E. 306 Воробьевскій паркъ 307 Эстетику 307 Поэту 308 E. E. 308 Ночь 308 Жалоба 310 Изъ «Идеаловъ» Шиллера 311 Воспоминаніе 312 Извиненіе 312				
E. E. 306 Воробьевскій паркъ 307 Эстетику 307 Поэту 308 E. E. 308 Ночь 308 Жалоба 310 Изъ «Идеаловъ» Шиллера 311 Воспоминаніе 312 Извиненіе 312				
Воробьевскій паркъ 307 Эстетику 307 Поэту 308 Е. Е. 308 Ночь 308 Жалоба 310 Изъ «Идеаловъ» Шиллера 311 Воспоминаніе 312 Извиненіе 312				
Эстетику		E. E	• 306	j
Эстетику		Воробьевскій паркъ	. 307	1
Поэту 308 E. E. 308 Ночь 308 Жалоба 310 Изъ «Идеаловъ» Шиллера 311 Воспоминаніе 312 Извиненіе 312			307	7
E. E. 308 Ночь 308 Жалоба 310 Изъ «Идеаловъ» Шиллера 311 Воспоминаніе 312 Извиненіе 312				
Ночь				
Жалоба				
Изъ «Идеаловъ» Шиллера				
Воспоминаніе			. 310)
Извиненіе		Изъ «Идеаловъ» Шиллера	. 311	
Извиненіе		Воспоминание	. 312	1
200			312)
		Дума	. 313	

ВОСПОМИНАНІЕ о поъздкъ на Аеонъ (1881 г.)

I.

Почтенный Тимковскій начинаетъ описаніе своего путешествія такими словами: "судьба украсила мою жизнь событіемъ ръдкимъ, незабвеннымъ: я видёль Китай" *). Такъ и я могъ бы сказать. И въ моей жизни было рѣдкое и прекрасное событіе: я видъль Авонь. Впечатльнія, которыя оставила во мет Святая Гора, составляють съ тъхъ поръ (т. е. съ 1881 года) великую мою драгоденность, и они живо возникли во мне, когда появилось извъстіе о смерти игумена отца Макарія (19 іюня 1889) и стали печататься восноминанія объ немъ и очерки его жизни. Мнѣ досталось счастіе вид'єть о. Макарія и разговаривать нимъ; изъ всёхъ, кого я видёлъ на Аоонѣ, онъ быль для меня самымь чистымь и несравненнымь

^{*)} Путешествіе въ Китай черезъ Монголію. Спб. 1824.

по красот воплощением того духа, которым живеть вся Авонская гора.

Мнѣ хочется теперь остановиться хоть немножко на этихъ воспоминаніяхъ. Особенно хотѣлось бы мнѣ, изъ того, что сохранилось въ моей памяти, уловить кой-какія черты, которыхъ я почти вовсе не нахожу въ чужихъ разсказахъ. Послѣ того, какъ я съѣздилъ на Анонъ, для меня получила большую занимательность всякая книга или статья, гдѣ объ немъ говорится; нигдѣ, однако же, не привелось мнѣ найти повторенія иныхъ впечатлѣній, которыя я испыталъ и которыя очень хотѣлъ бы встрѣтить въ полномъ и ясномъ выражепіи.

Но, прежде всего, чувствую, что мий слйдуеть представить своимъ читателямъ ийкоторыя объясненія и почти оправданія. Какъ случилось, что я попаль на Авонъ? Что привело меня туда? И тогда, и потомъ, часто мий приходилось слышать подобные вопросы. Еще на пути къ Святой Горй не разъ я замйчалъ, что моя пойздка возбуждаетъ удивленіе, особенно если случалось говорить съ незнакомыми людьми. И на желізной дорогі, и въ Севастопольской гостипниці, и на пароході, и въ Константинополі, даже въ нашемъ копсульстві и посольстві, мои собесідники иногда очень замітно выражали мий свое недоумініс. Когда

бывало случалось мив объявлять свой чинъ статскаго совътника, то это всегда производило благопріятное впечатльніе; когда потомъ оказывалось, что я служу библіотекаремь, то это значительно охлаждало вниманіе, возбужденное мо имъ чиномъ; но когда я говорилъ, что хочу провхать на Аеонъ, то я видель, что вдругъ совершенно роняль себя въ мнъніи моихъ собесъдниковъ. Живой разговоръ, подстрекаемый тою скукою, которую большинство людей чувствуеть въ дорогъ, вдругъ затихалъ; иные чуть не готовы были отъ меня отвернуться. Очевидно, въ ихъ глазахъ я попадалъ вь разрядъ людей, которымъ не могуть быть доступны высшіе интересы просвъщенія и которые сами питають какіе-то дикіе интересы. Случалось мив замвчать потомъ, съ какимъ высокомфріемъ и нескрываемымъ недобро желательствомъ иные изъ этихъ просвъщенныхъ людей смотръли вообще на монаховъ: безъ сомнъ нія, они видёли въ нихъ какой-то вредный элементъ человъческаго общества.

И такъ, нѣкоторыя объясненія съ моей стороны, мнѣ кажется, необходимы, хотя, конечно, не для всѣхъ читателей. Вражды и слѣпаго взаимнаго непониманія еще много и въ нашъ прогрессивный вѣкъ, можетъ быть даже больше, чѣмъ въ другіе вѣка.

II.

Куда фхать? Зачемъ фхать? Если эти вопросы разумьть въ серіозномъ смысль, на нихъ вовсе не легко отвъчать. Спасать свою душу одинаково надобно и возможно на всякомъ м вств, и отъ души своей никуда спастись невозможно. Да и вообще, не вездъ ли вокругъ насъ люди, а передъ нами земля и небо, всъ стихіи природы и жизни человъческой? И счастливъ, конечно, тотъ, кто прямо живетъ этими окружающими стихіями, кого не тянеть въ даль, кто почерпаеть свою душевную пищу изъ близкой и родной почвы. Для такихъ людей путешествіе не можетъ имѣть глубокаго интереса; оно всегда для нихъ будетъ только забавою, только "охотою". Такъ гуляють по всему свъту англичане, нося въ груди свою Англію и смотря на весь остальной міръ съ равнодушіемъ и презрѣніемъ. Правда, они очень трудно и очень мало понимаютъ чужую жизнь: но это въдь не мъщаетъ ихъ душевному здоровью.

Другое дёло, какъ извёстно, мы, русскіе. Мы большіе охотники расширять свой кругозоръ: мы легко вникаемъ въ чужую жизнь, легко отдаемся чужимъ понятіямъ, и нельзя не сознаться, что, большею частію, мы этимъ портимъ свою душевную дёятельность. Если бы мы были посеріоз-

нье, то насъ должно бы ужасать то отсутствіе крѣпкихъ связей со всякою жизнью, и съ своею, и съ чужою, которое у насъ такъ часто встръчается. Все мы понимаемъ, всёмъ умёемъ интересоваться, и ничьмъ серіозно не заняты, и ни къ чему не питаемъ глубокаго, кровнаго участія, кромъ развъ своихъ мелкихъ личныхъ выгодъ и прихотей. Вследствіе долгаго умственнаго блужданія по разнымъ эпохамъ исторіи и народамъ земнаго шара, русскій образованный человікь часто по душевному складу бываеть похожь на отжившаго старика, невольно пришедшаго наконецъ къ той степени отвлеченнаго пониманія, на которой всв вещи равны и нътъ уже ничего ни новаго, ни великаго, а все сливается въ однообразномъ потокъ въчности.

Какъ бы то ни было, но я чувствую, мнѣ слѣдуетъ, вообще, не столько похвалиться, сколько повиниться передъ читателемъ, объясняя ему что одною изъ причинъ моей поѣздки въ Царьградъ и на Авонъ была прямо похоть очей. У меня было два свободныхъ мѣсяца, и мнѣ захотѣлось увидѣть что нибудь новое, посмотрѣть собственными глазами на какое нибудь большое зрѣлище, не похожее ни на что прежде видѣнное, и прикоснуться душою къ какой нибудь людской жизни, идущей не по тѣмъ началамъ, по которымъ

мы сами живемъ. Европа меня нетянула, хотя въ прежнія поездки въ Париже мне не пришлось провести и десяти дней, а въ Лондонъ и вовсе не удалось побывать. Европу вёдь можно видёть тутъ, въ Петербургъ; ел жизнь, ел нравы и вкусы широкою волною наилывають къ намъ черезъ это "прорубленное окно" и осъдають здъсь въ самыхъ точныхъ своихъ формахъ. Мы даже и говоримъ по французски, хотя утонченные западники, какъ напримъръ, Тургеневъ, и замъчаютъ, что петербургскій французскій языкь будто бы противень въ сравнени съ прелестію настоящаго французскаго языка. Но не всякому доступна такая проницательность; для грубаго взгляда нашъ Петербургъ—совершенно европейскій городъ. Не только улицы, дома и магазины устроены по европейски: но и книги, картины, кокотки, принципы, вкусы и пріемы-все цёликомъ приходить къ намъ съ Запада и господствуетъ безпрекословно въ нашей жизни. Конечно, не смотря на то, Петребургъ все таки оказывается только параднымъ городомъ, какъ бывають въ домахъ парадныя комнаты для пріема гостей. Подъ блестящей обстановкой и въ сторонъ отъ центровъ, опытные глаза и въ немъ легко различаютъ неряшество, грязь, безпорядокъ, все милое спустя рукава русской жизни; среди звуковъ стройнаго столичнаго шума и говора, опытныя уши могуть уловить и звуки чисто звѣриные, и нерѣдко грубость истинно татарскую. Не говорю о томъ великомъ духѣ, который многіе приписывають только Москвѣ и деревнѣ, и который живеть, однако, и въ Петербургѣ, хотя еще болѣе безмолвный и невидный, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ. Но все же, европейскій элементъ, въ самыхъ существенныхъ, крупныхъ своихъ чертахъ, здѣсь такъ силенъ, что едва ли нужно еще ѣхать въ Лондонъ, чтобы ближе узнать начала, на которыхъ знѣдется жизнь просвѣщенныхъ народовъ. Такъ вѣдь, кажется мы и дѣлаемъ. мы много ѣздимъ въ Европу, но больше для того, чтобы тамъ жить и гулять, а не для того, чтобы учиться.

Но гдѣ же искать другой жизни? Европейскіе нравы и обычаи уже распространились по всему земному шару; вездѣ власть и движеніе, ростъ и сила принадлежитъ Европѣ, а всякая другая жизнь лишена развитія и будущности. Сотни милліоновъ людей, еще не уподобившихся европейцамъ, составляють лишь служебное, рабочее, по датное населеніе, которое уже не можетъ мечтать ни о самостоятельности политической, ни о своеобразной культурѣ, ни о малѣйшемъ участіи въ ходѣ исторіи человѣческой. Поприще этой исторіи окончательно остается за Европой и, повидимому, никому не будетъ уступлено.

Итакъ, отъ Европы трудно уйти. Какая охота ѣхать въ Египетъ? Пришлось бы идти вверхъ по Нилу на какомъ нибудь французскомъ пароходѣ, потомъ остановиться въ Каирѣ въ "Европейской гостинницѣ", а вечеромъ идти въ театръ слушать италіанскую оперу. Жить на другой точкѣ земнаго шара, но въ нашей обыкновенной обстановкѣ, видѣть кругомъ только дребезги былой жизни, не встрѣчать вокругъ себя никакихъ формъ и движеній, въ которыхъ проявляется сила и творчество самобытнаго народа, самобытной исторіи, тутъ нѣтъ ничего особенно интереснаго.

Но не то ли же самое и вездѣ, что въ Египтѣ? Вездѣ остались только обломки и дребезги былой жизни, вездѣ туземное населеніе на заднемъ планѣ, лишенное средоточія и самобытнаго движенія, а на первомъ планѣ живетъ и движется та Европа, которой отличные образчики можно найти и здѣсь, въ Петербургѣ. Одна только страна, какъ разсказываютъ, сохранила еще свою древнюю жизнь и еще можетъ имѣть надежды на ея развитіе въ будущемъ. Это—Индія, колыбель самой распространенной религіи, самой отвлеченной философіи и математики. Не такъ давно одинъ изъ нашихъ сенаторовъ съѣздилъ отсюда въ Индію—такъ, для прогулки, въ свободное отъ занятій время. Нельзя не похвалить его за моло-

дечество и не позавидовать ему Но это, конечно, довольно дальняя и дорогая прогулка, и къ ней нужно порядочно подготовиться чтобы она питла надлежащій интересь. Между тімь, у нась близко, подъ бокомъ есть страны, которыя, очевидно, имъють тоже высокую занимательность. Самая страшная Азія, последняя могучая форма восточной жизни, еще царить въ Константинополь; благодаря усиліямь Европы, на самомъ европейскомъ материкъ еще сохраняется грозное нъкогда владычество турокъ. Если бы мнъ, думалъ я, и неудалось многое уразумьть въ этой чужой жизни, то одно навърное удастся, увижу это несравненное мъсто, полюбуюсь на видъ, равнаго которому не находять на всемь земномъ шаръ. А кром'в того, побываю и въ Святой Софіи, то есть въ храмъ, который, по мнънію многихъ, тоже не имфеть себф равнаго по красотф.

Но оттуда уже не далеко до другаго мѣста, какъ мнѣ думалось, еще болѣе любонытнаго, уступающаго своимъ интересомъ развѣ только одной Индіи. Это—Святая Гора, небольшой полуостровъ Эгейскаго моря, населенный монахами. Тамъ сохранилась до нашихъ дней и продолжаетъ неприкосновенно процеѣтать особая жизнь, начавшаяся съ первыхъ вѣковъ христіанства и, уже почти тысячу лѣтъ назадъ, вполнѣ сложнвшаяся

въ свои формы. Эти монахи показали, какъ бы въ видъ огромнаго историческаго примъра, истипное свойства монашества, то есть, что они действительно отрекшіеся отъ міра богомольцы, чужпые всякихъ земныхъ дёлъ. Такъ ихъ и поняли свиръпые турки и оставили ихъ въ покоъ, такъ что люди, отказавшіеся отъ всёхъ земныхъ благъ, сохранили въ теченіе мпогихъ бѣдственныхъ вѣковъ лучшее благо-независимость и самобытный складъ жизни. Но цфль ихъ была разъ навсегда назначена, и средства для нея отъ начала были определены; поэтому, имъ не нужно было никакихъ перемънъ, и у нихъ не было прогресса, не было нсторіи. По свид'ятельству ученыхъ изсл'ядователей. Авонъ есть дъйствительно живой остатокъ гдубокой старины, и, въ этомъ отношении, мъсто единственное въ своемъ родъ, подобнаго которому нътъ ни въ одной странъ обитаемаго міра.

Вспомнимъ при этомъ, какой духъ тамъ живетъ, — духъ нашего православнаго благочестія Тамъ—одно изъ чистѣйшихъ воплощеній того животворнаго начала, которое составляетъ истинную душу русскаго народа. Авонъ есть поприще и училище святости, а святой человѣкъ есть выстій идеалъ русскихъ людей, начиная отъ неграмотнаго крестьянина и до Льва Толстаго.

Вотъ, читатель, маленькое объяснение, почему мнъ гръшному захотълось побывать на Авонъ.

III.

Въ 1881 году 16-е августа приходилось въ воскресенье, и утромъ въ 9 часовъ я сѣлъ на пароходъ, который по воскресеньямъ отходитъ изъ Севастополя и идетъ прямо въ Константинополь. На пароходѣ было пусто; кромѣ двухъ русскихъ, мужа и жены, былъ еще одинъ англичанинъ; но гдѣ же на морѣ англичанъ не бываетъ? Невольно я почувствовалъ нѣкоторую странность своего поступка; какъ это я ѣду туда, куда никто не ѣдетъ?

Константинополь вообще такъ далекъ отъ нашихъ мыслей, что онъ и въ пространствъ кажется намъ дальше Парижа, Лондона, Рима. Между тъмъ онъ дъйствительно у насъ подъ бокомъ. Изъ Севастоноля или изъ Одессы проъхать въ Константинополь легче и дешевле, чъмъ изъ Петербурга въ Москву. На другой день въ полдень мы уже входили въ Босфоръ и, конечно, всъ бросились на палубу. Къ несчастію, день былъ облачный, и удивительный видъ много терялъ. Но, кромъ того, присматриваясь къ пышнымъ зданіямъ, которыя одно за другимъ такъ живописно рисуются на зеленомъ фонѣ высокаго берега, я сталъ чувствовать въ этой пышности какой-то недостатокъ. Въ разиѣрахъ этажей, въ простѣнкахъ, которые втрое уже оконъ, во всемъ обнаруживалась странная легкость. "Да это карточные домики!" сказалъ я англичанину. Потомъ я убѣдился, что такъ построенъ и весь Константинополь. Тонкія стѣны выводятся изъ деревянныхъ брусьевъ, пересѣкающихся на крестъ; промежутки закладываются легкими кирпичами. Архитектурное впечатлѣніе, которое производитъ большая масса такихъ домовъ, въ сущности очень жалкое.

Когда мы вошли въ Золотой Рогъ, насъ ожидало другое разочарованіе. Въ Константинополѣ нѣтъ набережныхъ и пристаней; пароходы, какъ въ необитаемой страпѣ, бросаютъ якорь среди залива, и только въ лодкѣ можно добраться до берега. Но встрѣча намъ была радушная. Сейчасъ же на пароходъ явился проводникъ, Марко Митровичъ, очень хорошо говорящій по русски, и явились монахи съ аеонскаго подворья съ ласковымъ предложеніемъ пріютить странниковъ. Но какъ ни тянуло меня къ себѣ подворье, еще больше мнѣ хотѣлось сейчасъ же очутиться не среди русскихъ, а среди туземнаго населенія того удивительнаго города, котораго громадная панорама со всѣхъ сторонъ окружала насъ. Мнѣ было

непонятно хладнокровіе капитана, который твердиль, что торопиться некуда и уговариваль чету супруговь остаться об'ёдать на пароход'ё. И они согласились! Я же тотчась захватиль съ собою Марка и съ величайшимъ нетерп'ёніемъ и волнененіемъ пустился на берегъ.

Минута, когда я вышель на дрянную лодочную пристань въ Галатв, осталась въ моей памити. Показалось солнце, сдёлалось ярко и тепло. Что же это такое? Во всё глаза глядёль я на людей, которые тутъ суетились. Это были носильщики, простые турки и всякіе азіаты, работавшіе надъ ящиками и мъшками товаровъ. Ихъ смуглыя лица, по восточному неподвижныя, какъ будто вылитыя изъ мѣди, съ рѣзкими и странными, никогда невиданными мною чертами, ихъ открытыя груди и голыя икры, ихъ яркія одежды — все поразило меня, какъ будто я попалъ на другую планету. Но мое удовольствіе не долго продолжалось. Марко, оставившій меня на улидь за чашкой кофе, скоро вернулся съ коляской; мы повхали, и я съ каждымъ шагомъ все яснъе видълъ то, о чемъ слъдовало бы раньше догадаться: кругомъ меня не было ровно ничего турецкаго и никакихъ турокъ; мы были въ Перт, которую можно назвать особымъ городомъ, совершенно европейскимъ, хотя бы и худшимъ изъ всёхъ городовъ на свётъ. Это

не часть Стамбула и не предмѣстье его, какъ обыкновенно говорятъ; ибо у нихъ нѣтъ ничего общаго. Они раздѣлены вполнѣ, физически—Золотымъ Рогомъ, а нравственно—происхожденіемъ, языкомъ, религіею, образомъ жизни,—словомъ всякими возможными раздѣленіями. Опять, значитъ, я попалъ въ европейскую среду. Хотя въ Константинополѣ европейская жизнь не на первомъ, а на второмъ планѣ, но оказалось, что мнѣ нельзя иначе и жить, какъ на этомъ второмъ планѣ. Стамбулъ недоступенъ для иностранцевъ; тамъ нѣтъ гостиницъ, и поселиться среди турокъ невозможно.

Но миѣ приходится теперь отложить всякіе разсказы о впечатлѣніяхъ Стамбула, о святой Софіи и мечетяхъ, о базарахъ и кофейняхъ, о всяческихъ моихъ усиліяхъ вникнуть въ жизнь турокъ и уловить физіономію удивительнаго города и времяпровожденія его жителей. Никакія описанія не могуть замѣнить того, что поймешь, когда видишь предметъ собственными глазами, и если я прежде зналъ, что Турція—умирающій организмъ, то не могъ, однако, и представить себѣ, какъ на всемъ и всюду здѣсь лежитъ страшная печать мертвенности. Но обращаюсь прямо къ поѣздкѣ на Авонъ. На авонскомъ подворьѣ мнѣ сказали, что пароходъ отойдетъ 28 августа, и уже

наканунѣ я перебрался изъ гостиницы на подворье. Не могу не вспомнить съ благодарностью объ этомъ гостепріимствѣ. Авонскіе отцы знамениты своею любезностію и радушіемъ, и самое пріятное то, что вы скоро чувствуете, до какой степени они въ этомъ естественны. Вѣжливость монаха имѣетъ глубокую и твердую основу искреннее смиреніе; промахъ въ обращеніи съ людьми скорѣе сдѣлаетъ мірской человѣкъ, никогда не бывающій вполнѣ свободнымъ отъ гордости житейской.

Вообще, для русскаго повздка на Асонъ оказывается дёломъ самымъ простымъ и легкимъ. Не нужно ни мальйшихъ хлопотъ и усилій. Въ Константинополь монахи возьмуть вась съ парохода, пом'встять въ своемъ подворь в, будутъ угождать вамъ, кормить и поить, и, когда придетъ время, посадять на пароходь, отправляющійся къ Святой Горф. Поразительно то обстоятельство, что только русскій монастырь устроилъ совершенно правильное и удобное сообщение съ Авономъ. Французскій пароходъ, дёлающій правильные рейсы по Мраморному и Бѣлому морю, обязанъ по условію зайти разъ въ двѣ недѣли въ русскій монастырь св. Пантелеймона; туть онъ оставляеть тёхъ, кто сёлъ въ Константинополё, и беретъ твхъ, кто туда возвращается. Нашъ монастырь,

поэтому, сталъ точкой сообщенія съ остальнымъ міромъ всей Авонской горы; онъ разъ въ двъ недъли принимаетъ подъ свой кровъ путниковъ всякихъ другихъ монастырей, хотя изъ нихъ многіе превосходять его древностію и богатствомъ. Дѣло въ томъ, что обильный и непрерывный потокъ богомольцевъ въ настоящее время идетъ только изъ Россіи; путники, идущіе изъ другихъ странъ, становятся все ръже и ръже. Говорятъ, что греки усердно посъщали Авонъ и дълали богатыя приношенія, пока были подъ властію турокъ; но со времени освобожденія все это почти прекратилось. Греки очень редко стали поступать и въ монахи, такъ что ихъ монастыри состоятъ теперь изъ глубокихъ старцевъ и понемножку пустѣютъ. У насъ наоборотъ: число монашествующихъ растетъ съ каждымъ годомъ. Всего замѣчательнъе то, что это процвътание есть дъло очень недавнее. Когда въ половинъ сороковыхъ годовъ Фалльмерайеръ гостилъ на Авонъ, онъ, такой внимательный ко всему, касающемуся Россіи, даже не обратилъ вниманія на ничтожную кучку русскихъ монаховъ. Быстрое разростание "Руссика" только къ прошлому царствованію, относится то есть какъ разъ къ тому времени, когда происходило столько освободительныхъ реформъ, когда вмъсть сь темъ появились и разрослись у насъ

вольнодумство, нигилизмъ, нокушенія. Въ это время, незримо для насъ, благочестивые люди одинъ за другимъ уходили навсегда за дальнія моря и составили тамъ нынѣшнее многолюдное и цвѣтущее общежитіе.

Можеть быть это—простое слѣдствіе оживленія всякихъ передвиженій и сношеній, а можеть быть туть есть и молчаливый протестъ противъ нашего просвѣщенія.

IV.

Вечеромъ 30 августа мы обогнули мысъ, на которомъ стоитъ высокій конусъ, называемый собственно горою Авономъ, и осторожно стали подвигаться вдоль западнаго берега полуострова. Наступила тихая и темпая звѣздная ночь, и я съ сокрушеніемъ смотрѣлъ на гористый берегъ, смутно темнѣвшій передъ нами. Какую бы красоту мы увидѣли, если бы это было при свѣтѣ солнца! Часу въ одиннадцатомъ вечера, наконецъ, медленно движущійся пароходъ остановился въ темнотѣ противъ русскаго монастыря. Большая неправильная груда зданій, гдѣ не свѣтилось ни одного огонька, неясно бѣлѣла на берегу. Съ парохода дали сигналь—небольшой пушечный выстрѣлъ; все молчало и было темно по прежнему. Подо-

ждали, сделали другой выстрель, и опять стали ждать. Бёда была въ томъ, что мы пришли въ то время, когда всв монахи спали - они въдь ежедневно встаютъ отъ сна въ первомъ часу ночи. Наконецъ на берегу показались люди съ огнями, и лодки стали подходить въ пароходу. Случилось такъ, что онъ сперва пристали къ сходу изъ третьяго класса. Мы должны были ждать, пока будетъ перевезена на пристань большая толна богомольцевъ изъ простонародья. Хлопотъ было много, и монахи усердно работали, принимая путниковъ и ихъ вещи. Я праздно стоялъ, вглядываясь въ эту оживленную картину. И тутъ меня поразило впечатленіе, которое потомъ уже не покидало меня во все время, проведенное на Святой Горф. Послышались быстрыя, торопливыя восклиданія монаховъ: "сюда! держитесь! подвиньтесь! посв'яти, брать Василій! отецъ Памва, еще немножко!" и т. д. Но, не смотря на всю живость и поспішность этихъ річей, въ нихъ было что-то особенное. Он' не только не подымались до крика, не только въ нихъ не звучало и тѣни раздраженія или досады, но не было даже простой небрежности нли отрыванія; торопящіеся голоса были неизмінно ласковы, чисты и свободны. Эти монахи, которыхъ мы вдругъ разбудили, оказались на этой пробъ истинными монахами. И тоже самое вы замътите

всегда и на всемъ Аоонъ, и въ монастыряхъ, и въ Карев, и на дорогахъ въ лесу, и на лодкахъ у береговъ. Вездъ, въ ръчахъ и дъйствіяхъ господствуетъ совершенное безстрастіе и спокойствіе, которое при каждомъ удобномъ случав переходитъ только въ радушіе и ласку. "Благословите!" "Богъ васъ благословить!" "Будьте благословенны!"такими привътствіями обмъниваются на Аоонъ пешеходы и всадники встръчающиеся на дорогъ. Въ продолжение двухъ недъль я не слышалъ ни единаго крика, ни единаго сердитаго слова; эта удивительная тишина, прямое отражение и выраженіе душевнаго мира, поразила меня въ первый день, а потомъ плъняла все больше и больше. Такъ живетъ весь полуостровъ, все его десятитысячное населеніе.

На другой день по прівздв меня пригласили къ игумену, и я увидвлъ о. Макарія. Но прежде чвмъ говорить о немъ, мнв кочется сказать несколько словъ о мпсть дыйствія, обо всей Авонской горв, объ ея внёшней, природной красотв. Местоположеніе нашего монастыря, къ сожалёнію, не имбетъ въ себе ничего особенно красиваго. Онъ стонтъ у довольно крутаго берега, какъ будто прижать къ нему, и зданія его, неправильно наростающія кверху, представляють некоторую картину только съ моря. Туть одна красота, именно—само море, кра-

сота общая всему Авону, обнимающая его со встхъ сторонъ. Море видно было изъ оконъ той кельи, въ ксторой меня поселили; море свтилось въ огромныя окна новаго большаго храма, гдт дали мит мтсто для стоянія на службахъ. Море есть великая красота, половина встхъ красотъ земли, и кто полюбилъ море, тому ничто замтнить его не можетъ. Безбрежная масса прозрачной какъ кристаллъ воды то тиха и весело волнуется, то грозна и пеистово мечется; но при всякомъ своемъ движеніи и при встхъ перемтнахъ дневнаго и ночнаго освтщенія, она, въ силу своей чистоты, принимаетъ краски и отттники удивительной нтжиости, отчетливости и силы. Уже отъ этого видъ моря есть истинная ласка для глазъ.

Но я насладился и другими, особенными красотами Авона. Дня черезъ два послѣ прівзда, монахи сами предложили мнѣ то, чего мпѣ чрезвычайно хотѣлось,—сдѣлать поѣздку по Святой Горѣ. Такія поѣздки составляютъ здѣсь, очевидно, обыкновенное, привычное дѣло, и вотъ я въ течепіе моего пребыванія дважды покидалъ нашъ монастырь и странствовалъ по другимъ монастырямъ, а, главное, проводилъ цѣлые дни на дорогахъ и тропинкахъ, окруженный всею роскошью и прелестію Авонскихъ видовъ. Скажу прямо, что нигдѣ и никакое путешествіе не давало мнѣ столько жи-

ваго наслажденія, какъ эти новздки; никогда *по*хоть очей не была удовлетворена такою обильною и сладкою пищею.

Многое туть зависьло отъ самаго способа передвиженія. На Авонъ почти вовсе нъть колесныхъ дорогъ; вся тада совершается верхомъ на мулахъ, животныхъ, которыя такъ драгоценны для всякихъ гористыхъ и бездорожныхъ мѣстъ. И слѣдовательно, всякая Взда здёсь совершается шагомь, такъ что на чась пути полагается не больше ияти версть. Ничего не можеть быть лучше для того, кто желаетъ смотръть и видъть. 3-го сентября, послъ объдни, я и отецъ Г., котораго мнъ дали въ проводники, съли на муловъ; погонщикъ, грекъ, служащій по найму въ монастыр'в, взяль поводья моего мула и ношелъ впередъ; мы вытхали за монастырь и пустились по ложбинѣ, которая шла въ гору и куда еще не заходили лучи солнца. На протяженіи ніскольких версть я совершенно освоился съ своимъ положеніемъ и оцфииль всф его удивительныя удобства. Я сидёль на мулё также спокойно, какъ на креслъ, и безподобное животное скоро заслужило мое полнъйшее довъріе. Управлять имъ ивтъ надобности, опасаться за него было бы непростительною мнительностью; какъ бы ни былъ круть подъемъ или спускъ, какими бы камнями, или рытвинами ни была усъяна тропинка, мулъ подымется и спустится всегда ровнымъ шагомъ, и никогда нога его не оборвется, никогда пе ступитъ на ненадежное мѣсто. Во всѣ поѣздки только разъ случилось, что заднее копытце моего мула немножко поскользнулось. Скоро я отобралъ непужныя поводъя у погопщика и почувствовалъ себя совершенно свободнымъ. Не только я могъ спокойно любоваться видами и разговаривать съ любезнымъ проводникомъ, но я раскрывалъ зонтикъ, когда приходилось ѣхать по горячему солнцу, свертывалъ папиросы, зажигалъ и курилъ—все также удобно, какъ если бы ѣхалъ въ коляскѣ на резинахъ.

Эти долгіе часы на мулѣ неизгладимо остались въ моей памяти. Какая красота! Теперь все у меня уже перемѣшалось, и я не могъ бы ничего разсказать по порядку; но живо встаетъ передо мною вся эта роскошная и свѣтлая пустыня. Весь полуостровъ, тянущійся на восемьдесятъ верстъ, похожъ на запущенный садъ, густо заросшій гдѣ только было можно. Южныя деревья съ ихъ живописной темной зеленью, каштаны, дубы, платаны, образуютъ по мѣстямъ высокіе вѣковые лѣса. Но вся мѣстность гористая; безирестанно открываются поляны, овраги, холмы, скалы; морской берегъ, то пологій, то обрывистый, вдругъ становится видѣнъ съ высоты, потомъ пропадаетъ и снова является, но уже съ другой стороны, а иногда, когда вы

вдете по самому гребню, море разстилается передъ вами съ обфихъ сторонъ. Трудно описывать природу. Если кто знаетъ южный берегъ Крыма, то нусть вообразить, что двй такихъ полосы садовъ и скалъ сложены спипками по той линіи, гд в подымается хребетъ Яйлы; пусть представитъ, что такой двойной "Южный берегь" - еще роскошнье по климату и растительности, и что онъ по гребпю густо заросъ лѣсомъ, - вотъ, кажется, будеть подобіе Святой Горы. Никогда но забыть мей ранняго утра, когда мы вывхали изъ Симоно-Петра послв ночлега. Тропинка идетъ на огромной высотъ надъ отвѣсными скалами, и было видно и слышпо, какъ море плещеть въ каменный берегъ. Боже мой, какой просторъ и свътъ, какая прозрачность и чистота встхъ очертаній, какой океанъ сілющей красоты!

Не даромъ же эту прекрасную пустыню съ древнѣйшихъ временъ выбрали для себя мопахи. Извѣстно, что монахи вообще высоко цѣнятъ красоту природы. Вспомните мѣстоположеніе какого нибудь изъ монастырей у насъ на родинѣ; если вглядѣться, то нельзя будетъ пе согласиться, что мѣсто всегда выбрано съ самымъ тонкимъ и вѣрнымъ вкусомъ. И такъ, радость очей, наслажденіе зрѣлищемъ природы находится очевидно въ полной гармоніи съ самымъ чистымъ благочестіемъ, даже съ высшими духовными подвигами. Меня поразилъ въ этомъ отношеніи одинъ разсказъ инока Пароенія. Когда онъ пришель на Абонъ, то сталъ усердно распрашивать, кто тамь больше всёхъ славится святостію жизни; ему сказали ночти въ одинъ голосъ, что всёхъ превосходить келіотъ Арсеній. Тогда Пароеній пустился отыскивать его келью, добрался до нея и былъ имъ принятъ подъ руководство. Но вотъ что онъ говоритъ о самой кельё:

"Келлія стоить на горь, на возвышеніи, на открытомъ мѣстъ, откуда видно почти всю восточную страну Св. Горы: на югъ-до самого Аоона и весь Аоонъ; на съверъ-до монастыря Пантократора и до скита Богородины; къ востоку, къ морю, подъ горой-монастырь Иверъ весь на открытін; къ востоку же-и открытое великое море Архипелать, до самаго Дарданельскаго пролива. По средв моря синвются четыре острова: Тасъ, Самооракъ, Имбро и Лемносъ; къ съверо-востоку синфются горы Македонскія; съ прочихъ же сторонъ келлія окружена лісами и холмами. Недалеко отъ келліи, изъ земли истекаетъ источникъ холодной и здоровой воды. Хотя келлія стоить яко свѣтильникъ на свъщницъ, на самой красотъ, но въ самой почти непроходимой пустынъ, такъ что ни съ которой страны къ ней подойти нельзя: ибо окружена горами и непроходимыми лъсами. Хотя и есть къ ней две тропинки, одна изъ подъ горы, а другая съ горы, но и тв очень малы, такъ что съ трудомъ можно познать "*).

Воть одинъ изъ Афонскихъ видовъ. Святой отшельникъ вибралъ для своихъ молитвъ глухое и пустынное мъсто, но такое, съ котораго открывалась эта чудеснъйшая нанорама. Тутъ ему была готова постоянная радость; тутъ глаза его могли каждую минуту наслаждаться красотою Божьяго міра.

Въ этомъ отношеніи, мѣстоположеніе пѣкоторыхъ Аоонскихъ монастырей — поразительно. Вообще, всѣ эти монастыри построены тѣсно; вокругъ главнаго храма, стоящаго носреди двора, возвышаются со всѣхъ сторонъ корпуса келій. Эти корпуса составляютъ вмѣстѣ и самую ограду монастыря; они бываютъ во много этажей, до шести, семи, и поднимаются часто выше главъ срединнаго храма; такимъ образомъ, изъ наружныхъ оконъ верхнихъ этажей открываются безподобные виды. Два монастыря, Діонисіатъ и Симоно-Петръ дошли въ этомъ исканіи свѣта и простора до послѣдней степени возможности. Они построены на большой высотѣ почти отвѣснаго каменнаго берега, притомъ такъ, что стѣны корпусовъ стоятъ на самомъ краю,

^{*)} Сказаніе о странствін п пр. Ч. II, стр. 129. (Москва, 1855).

сливаются съ обрывомъ берега. Симоно-Петръ, въ довершеніе всего, занимаеть собою цёлый вруглый выступъ, который отделенъ отъ остальнаго берега норядочною рытвиною; монастырь стоить какъ булто на отдельномъ пике и составляеть продолженіе этого пика къ верху. Теперь вообразите поднимающіеся одинь надъ другимь этажи, у Ліонисіата пять, у Симоно-Петра, кажется, до восьми; снаружи вдоль каждаго этажа идутъ деревянные балконы, и вы можете спокойно по нимъ прогуливаться. Какой видъ! Море блестить и синфетъ прямо подъ вами, а кругомъ необъятный просторъ, разубраный дальними островами и горами, и какъ рамка-льса и холмы, скалы и заливы Аоонскаго полуострова. Мало того; по нѣкоторой изысканности въ этомъ наслажденіи, чудные балконы обладають особенностію, которой пельзя не зам'єтить; между прекрасными и твердо укрѣпленными дубовыми досками половъ вездъ оставлены щели, правильные промежутки, такъ что лазурный свътъ моря и его сверканіе, кажется вамъ, рвутся изъподъ самыхъ вашихъ ногъ...

V.

Свътлою, радостною красотою осталась въ моей намяти Святая Гора. Но и обитатели ея, какъ ни мало и уснълъ съ ними позпакомиться, оста-

вили во мив впечатлвніе людей світлых и радостныхъ. Противъ монашеской жизни, какъ извістно, существують упорныя и глубокія предубіжденія. Мірскіе люди нынче построили всю свою жизнь на такихъ началахъ, что потеряли возможность даже понять, что ділають монахи. У Вогюэ, французскаго писателя, котораго у пасъ такъ знають и любять, есть книжка, гді онъ очень занимательно и подробно разсказываеть о своей подіздкі на Авонъ въ 1875 году *). Въ заключеніе онъ говорить:

"Память минувшаго и молчаніе! Нѣтъ, человѣкъ не можетъ жить этими двумя отрицаніями и въ этомъ скоро убѣдится тотъ, кто побываль на Авонѣ. Никогда не удастся намъ выразить то впечатлѣніе духоты и удрученія, тотъ сплинъ, который выдыхается этою искусственною жизнью, то оцѣпенѣніе, которое овладѣваетъ умомъ при этомъ странствіи между гробами. На эту природу, столь богатую и могучую, но пораженную безплодіемъ, нечувствительно распростирается траурный покровъ; глазъ видитъ все въ черномъ цвѣтѣ, тошнота схватываетъ за сердце при вдыханіи безвкусныхъ запаховъ бальзамировки: эти восковые

^{*)} E. M. de Vogüé. Syrie, Palestine, Mont Athos. Par. 1876.

фантомы съ угасшими взглядами тревожатъ вашъ сонъ въ уединенной кельѣ. Въ послѣдніе дни напрасно мы искали какого-нибудь пріятнаго напомицанія отсутствующей жизни: намъ казалось, что печаль сочится отовсюду... (стр. 331).

Въ подобномъ тонъ говорить ночти всъ о жизни монаховъ. Даже суровый Фалльмерайеръ, дѣлающій въ своемъ очеркъ такія геніальныя замѣчанія о различіи востока и занада, и умѣющій такъ глубоко цѣнить покой души, и онъ принисываетъ нѣкоторую «меланхолію» тѣмъ, кого называеть Weltüberwinder, "препобѣдившими міръ".

Между тъмъ, сами монахи никогда не говорятъ ничего подобнаго. Они считаютъ гръхомъ, если подвергаются чувству унынія и тоски, и они стараются прогнать отъ себя такія чувства. А главное, они считаютъ свою жизнь по самому ея существу блаженною жизнью, исполненною лучшихъ радостей, достунныхъ человъку на землъ. Возьмите Письма святогориа, а еще лучше Странствіе инока Пареснія, и вы убъдитесь несомивно, неопровержимо, что въ жизни истиннаго монаха много высокихъ радостей, что монахи сердечно любятъ всю свою обстановку, всъ свои упражненія и дъйствительно считаютъ себя несравненно благонолучите всякихъ мірскихъ людей. Неправильное мнъніе о жизни монаховъ, мить кажется,

происходить отъ двухъ причинъ: отъ ложнаго вопятія объ ихъ лишеніях и оть ложнаго попятія объ ихъ трудахъ. Мірскіе люди часто съ ненонятнымъ безстыдствомъ принимаются сожальть о томъ, что монахи лишаютъ себя двухъ великихъ благъ, мяса и женщинъ. Можно полумать, что именно похоть плоти составляеть главичо красу человъческой жизни; большинство, впрочемъ, какъ мы знаемъ, искренно исповадуетъ это, почему во всемъ цивилизованномъ мірѣ и совершается въ огромныхъ размфрахъ и съ величайшемъ усердіемъ служеніе чреву и спипному хребту. Но пе нужно же забывать, что это служение никакъ не можеть придать нашей жизни полнаго благополучія; эти радости скоро блёднёють и оканчиваются обыкновенно только тимъ, что человикъ внадаетъ въ тяжкое и безрадостное рабство собственному чреву и хребту. Съ отношеніями къ женщинамъ не даромъ всегда сопряжено чувство стыда, явный нризнакъ гръха и зла, какъ справедливо замѣчаетъ Шопенгауеръ. И такъ, почему же мы будемъ считать несчастными людей, которые совершенно свободны отъ всего, что можетъ повести къ рабству или что можетъ возбудить стыдъ?

Вогю очень педоволенъ пищею Аоонскихъ мопаховъ. "Вареныя тыквы или огурцы, солепая рыба, козій сыръ, арбузъ... столь въ высшей степени враждебный европейскимъ желудкамъ" (р. 278). Мнѣ думается, что вся эта *враждебность* проистекла только отъ появленія арбуза; французы считають арбузъ чѣмъ-то ужаснымъ, и невозможно побѣдить ихъ предразсудка противъ этого невиннѣйшаго плода. Какая сила—привычка, "чудовище привычка"!

Разсказывая о побъдкъ въ Карею, Вогюэ замъчаетъ: "Какъ бы было мило и очаровательно, если бы пріятный видъ этого м'естечка быль оживлепъ молодыми матерями, за пряжею на своихъ порогахъ, криками детей при звуке лошадинихъ копыть, кудахтаньемь курь и лаемь собакь; но нътъ: на шумъ нашего каравана, одни лишь черные колпаки высовываются изъ оконъ, а подъ ними исхудалыя лица и глаза, вяло блуждающіе по безграничнымъ областямъ скуки" (р. 271). Нѣсколько далѣе, авторъ пожалѣлъ даже объ игуменскомъ котъ, "печально влачащемъ свое вынужденное безбрачіе" (р. 281). Ну не странно ли, что иныя мысли приходять въ голову какъ разъ тамъ, гдф имъ вовсе не следовало бы показываться? Тишина и спокойствіе естественно кажутся несносными для живаго права; во совершенно напрасно отсюда дълаются заключенія о "безграничныхъ областяхъ скуки", о "сплинъ, выдыхаемомъ

этою жизнью", о "печали, которая сочится отовсюду" и т. д. Все это-невърный, фантастическій колорить, искажающій действительность. Самъ же Вогюэ, вездѣ, гдѣ разсказываетъ о сношеніяхъ съ монахами, невольно указываеть на ихъ "веселость", на "общительное добродушіе" и "оживленныя рвчи"; у него живо сохранилось, какъ опъ говорить, "восноминаніе объ ихъ усердномъ гостепрінистві, о личномъ обаянін, производимомъ всеми этими приветливыми и улыбающимися стариками, руки которыхъ мы ножимали" (р. 307). Развѣ это похоже на людей, изнемогающихъ отъ тоски и печали? Итсколько далье, стараясь разрешить "неностижимую загадку этихъ натуръ", Вогюэ пишетъ: "ясныя и улыбающіяся физіономіи добрыхъ калогеровъ внолит убъждають насъ, что не какія нибудь внутреннія драмы населили эти отшельническія уб'яжища" (р. 315). Это совершенно озадачиваеть нашего путешественника; впрочемъ, и никто почти не находить выхода изъ этого противорьчія. Мы всь пемножко чувствуемь, какъ мы дурны и гадки, мы нъсколько нонимаемъ надобность нокаянія, а нотому легко воображаемъ, что монахъ есть человъкъ много нагръшившій и теперь предающійся покаянію. Мы такъ часто видимъ разбитыя сердца, погубленныя жизни, изможденныя души, что несколько понимаемъ и

и потребность покоя, а потому объясняемъ себѣ монашество, какъ жажду уединенія, какъ удаленіе отъ людей. Но дальше мы понимать не можемъ. Что въ покаяніи душа исцѣляется и свѣтлѣетъ, что въ уединеніи человѣкъ не только спасается отъ людей, а способенъ почувствовать радостное приближеніе къ Богу, словомъ, что монашество есть путь дѣйствительнаго блаженства, что, слѣдовательно, можно искать этого блаженства, вовсе не будучи ни великимъ грѣшникомъ, пи великимъ несчастливцемъ,—этого мы попять не можемъ, это выходитъ за предѣлы всѣхъ нашихъ представленій.

Кто быль на Аоопѣ, кто испыталь ласковое радушіе аоонскихъ старцевъ, ихъ неистощимую доброту, тотъ никогда не приметъ ихъ за людей, удрученныхъ тоскою или скукою. Другаго я, впрочемъ, и не ждалъ; я зналъ и прежде, что чистая веселость есть обыкновенная черта отшельниковъ. Уже о первомъ изъ монаховъ, объ Антоніѣ Великомъ, Аоанасій пишетъ, что, хотя онъ былъ невзраченъ, по лицо его сіяло такою необычайною пріятностію, такъ было "весело отъ душевной радости", что по этому одному всякій узнавалъ Антонія, какое бы множество монаховъ ни было кругомъ 1). И такъ, ясныя лица многихъ мона-

¹⁾ *Теоренія Аванасія* архієп. **Александрійс**каго. Ч. ІІІ. стр. 263. 264.

ховъ и ихъ веселые разговоры не удивляли меня; но все же были случаи особенно замѣтные. Когла въ праздникъ 8 сентября игуменъ пригласилъ всёхъ на чай въ большой архонтарикъ, мнё случилось остановиться возл'я группы греческихъ монаховъ. Одинъ изъ нихъ, съдой, восьмидесятильтній старикъ, высокаго роста, неожиданно сталъ обнимать меня, ласково глядя мнв въ лицо и трепля рукою по спинъ, и все время довольно громко смёялся, смёялся отъ всей души. Этотъ простодушный привъть быль мит чрезвычайно пріятенъ; потомъ мнъ сказали, что старецъ, которому я въроятно чъмъ нибудь понравился, быль въ большомъ уваженіи у всей нашей обители. Другой монахъ, удивившій меня своимъ постояннымъ смѣхомъ, быль тоже грекъ, игуменъ, если не ошибаюсь, Діонисіата. Мы остановились у него въ монастыр в и, пока насъ угощали по его распоряжению, опъ пустился распрашивать меня про Россію и политическія цёла. Онъ сидёль ноодаль на широкомъ диванъ, подобравши подъ себя ноги и перебирая четки, и безпрестанно раздавался его веселый смъхъ. Между нашими пантелеймоновскими монахами большая часть были видимо добродушны и спокойны, но особенно быль ясень лицомь и радостенъ въ разговорахъ отецъ Ан., съ которымъ я, можно сказать, подружился. Онъ заходиль не

разъ ко мий въ келію, и иногда посылалъ при этомъ случай попросить вина у отца гостинника; такъ мы и бесйдовали—я пилъ кофе съ турецкой гущею, а онъ красное вино. Все это я пишу для того, чтобы показать, что самые почтенные и высоко стоящіе изъ монаховъ чужды всякой чопорности и что въ ихъ положеніи они вовсе не чувствуютъ какого-то мрака и удрученія, или какой нибудь связанности: эта жизнь, повидимому такая пскусственная, стала для нихъ совершенно естественною и нисколько не стёсняетъ ихъ души. Добросердечнійшій отець Ап. былъ на счету самыхъ строгихъ и образцовыхъ монаховъ.

VI.

Къ числу свътлыхъ монаховъ принадлежалъ и игуменъ, отецъ Макарій. Мнѣ очень хотѣлось сказать объ немъ нѣсколько словъ, но теперь, когда пришелъ чередъ говорить, чувствую, что мнѣ просто невозможно выразить свое впечатлѣніе. Ну что я скажу? Его видъ и рѣчи, и движенія плѣнили меня съ перваго же взгляда, такъ плѣнили, что я не пропускалъ ни одного его слова, что старался быть во время службы въ церквахъ, гдѣ онъ служилъ, и съ глубокой отрадою вслушивался въ его возгласы. А видѣть его внѣ церкви мнѣ удалось

всетаки только три или четыре раза. Но онъ поразилъ меня и красотою своего лица и голоса, и вмѣстѣ нростотою, живостью и безиятежною добротою во всякомъ своемъ движеніи. Онъ быль небольшаго роста, но очень правильныя черты его лица были крупны; лицо было блёдно и чисто какъ будто точеное изъ слоновой кости; прекрасные большіе стрые глаза были очевидно близоруки (опъ иногда прищуривался) и были прозрачно-чисты, какъ бываютъ только у истинныхъ девственииковъ и постниковъ. Онъ не улыбался, но на лицъ была, такъ сказать, ностоянная готовность къ улыбкт. Ричь его не имъла и тыни книжности. или, вообще, той искусственности, проповиднической приподнятости или молитвенной размигченности, которая часто свойственна духовнымъ особамъ. Это была краткая, простая, всегда оживленная рфчь. И онъ безпрестанно шутилъ, онъ въ каждомъ предметь находиль веселую сторону, какъ бы отнималь серіозное зпаченіе у трудовъ, которые самъ несъ, и у всякихъ хорошихъ и дурныхъ житейскихъ случаевъ, о которыхъ заходила ричь. Во всемъ монастыръ, казалось, никто не чувствовалъ себя такъ легко и беззаботно, какъ этотъ игуменъ, тогда какъ никто не быль такъ обремененъ, такъ ежеминутно ноглощенъ занятіями, какъ онъ. Монахи благоговъли передъ тъмъ высокимъ примъромъ, который онъ подавалъ имъ собою. Никто въ такой строгости не исполнялъ всѣхъ молитвенныхъ упражненій; "онъ, какъ свѣча, горитъ передъ нами", говорили монахи. А остальное время было все занято управленіемъ монастыремъ. Монахъ ничего не можетъ сдѣлать безъ "благословенія" игумена, и каждый день изъ семисотъ человѣкъ братіи 1) длинные непрерывные ряды приступали къ игумену или съ просьбами, или за распоряженіями. Онъ спалъ вѣроятно не больше трехъ или четырехъ часовъ 2). Монахи жаловались мнѣ, что игуменъ слишкомъ добръ, ни въ чемъ не отказываетъ братіи, а потому къ нему идутъ даже со всякими пустяками.

Я забыль сказать, что и движенія и нозы отца Макарія носили на себѣ тоть же свѣтлый характерь, какъ и все остальное; въ нихъ видна была скорѣе живость и энергія, чѣмъ заученная плавность и мягкость. Но отчего же весь его видъ имѣлъ въ себѣ при этомъ нѣчто величавое, и вмѣстѣ совершенно простое, а во время служенія—глубоко-благоговѣйное? Отчего его чтеніе и возгласы изъ алтаря не только были чужды ма-

Г. Красковскій пишеть, что число братіи теперь дошло уже до тысячи двухсоть. ("Моск. Вѣд". № 182 и сл.).

²) См. "Воспоминаніе" К. Н. Леонтьева въ Гражданинъ, 1889, № № 191—211.

шинальности, но звучали сердечнымъ благочестіемъ? Этого нельзя разсказать и объяснить словами.

Отецъ Макарій быль изъ рода богатыхъ купцовъ Сушкиныхъ и, можетъ быть, бодрость и ясность, которою онъ дышалъ, составляютъ нѣкоторое наслѣдіе живучести и дѣятельности, свойственной купеческому сословію. Онъ умеръ 69 лѣтъ, постриженъ въ монахи въ 1851, былъ игуменомъ съ 1875.

VII.

Доступь къ отцу игумену быль очень трудень; но оказалось, что посъщать другихъ монаховъ было также почти невозможно. Разумъется, мнъ очень хотълось сблизиться съ ними, и неизмънная ихъ привътливость, казалось, устраняла мальйшее къ тому затрудненіе. Но когда я зашель къ отцу Р., то случилось, что онъ спаль въ это время, и мнъ было совъстно, что я разбудиль его; когда я попробовалъ зайти къ отцу Аи., то засталь его читающимъ дправило": конечно я сейчасъ же ушелъ, едва успъвши взглянуть на прекрасный морской видъ изъ маленькаго окна, на который обратилъ мое вниманіе самъ обитатель кельи. Наконецъ я вовсе прекратилъ эти попытки

и только просилъ монаховъ, чтобы они заходили ко мив, если найдуть для этого время.

Но свободнаго времени у нихъ ночти истъ. Для своего главнаго дёла, для молитвы, они должны присутствовать на всёхъ церковныхъ службахъ, а службы эти, вместе взятыя, занимають двенаднать, нятнадцать, иногда двадцать часовь въ сутки. Служащіе, причащающіеся (а всіз причащаются разъ или два въ педёлю) читаютъ, сверхъ того, еще особыя молитвы. Вследствіе этого, обыкновенно монахи не имфють семи или восьми часовъ подрядъ свободныхъ, чтобы выспаться, и потому снять мало, или высыпаются въ два или три пріема. II такъ идеть д'яло круглый годъ, изо дня въ день. Праздники отличаются только темъ, что службы бывають торжествените и продолжительпре, и что всенощное одрніе, начинающееся въ будии въ цервомъ часу ночи, начинается подъ праздникъ съ семи часовъ вечера, а кончается, какъ и всегда, къ пяти часамъ утра.

Вотъ главное занятіе монаховъ, вотъ ихъ ностоянные и непрерывные труды. Ни одна черта авонской монашеской жизни не приводитъ мірскихъ людей въ такое изумленіе, можно сказать даже въ такой ужасъ, какъ эти долговременныя молитвы. Фалльмерайеръ разсказываеть объ нихъ такъ:

«Изъ восьми часовъ, ежедневно назначенныхъ на молитву и исалмопфніе въ церкви, большая часть, по крайней мъръ зимою, приходится на ночь. И, недовольные еще этимъ подвижпичествомъ, отцы Діонисіата, всякую субботу и наканунъ извъстныхъ праздниковъ, уже съ закатомъ солнца снова идутъ въ церковь, поютъ, молятся, кадятъ, предаются богомыслію и славословію всю почь безь перерыва, пока не покажется утренняя заря; тогда лишь пачинается торжественное богослужение, кончаемое ими пе ранъе двухъ часовъ послъ восхода солнца. Игуменъ всегда долженъ быть въ церкви. Въ зимнія почи мученіе (Qual) продолжается часто не менъе пятнадцати часовъ; но строгіе монахи, которыхъ молитвенная жажда еще не утоляется этими упражненіями, продолжають еще моленіе и бдение непосредственно после общаго богослуженія, частнымъ образомъ, въ своей кельъ, и доходять мало но малу до двадцати двухъ часовъ непрерывпаго моленія и истязанія (Pienigung)". "Отъ этихъ ночныхъ бденій въ латинской церкви осталось только названіе (Vigil), въ греческой же вивств съ названіемъ сохранилось и самое дівло, чему я, если бы самъ не побывалъ на Святой Горъ, никакъ не могъ бы и поверить."

"Монахи Діописіата и Симопо-Петра — мучешики заживо и могли бы выпудить къ себ'в уваженіе даже у насмѣшниковъ. Церковь, одушевляющая своихъ вѣрующихъ до такой суровости къ самому себѣ и до такого героизма, имѣетъ въ своей власти, должно думать, гораздо большія средства и силы, чѣмъ какія обыкновенно приписываются восточной церкви". "Что сказали бы о такой жизни сибариты запада?" и пр. 1).

Но почему же это намъ кажется до такой степени труднымъ и мучительнымъ? Развѣ намъ въ диковину занятія, поглощающія двѣнадцать, пятнадцать часовъ въ сутки? Нисколько. Возьмите ученаго, студента, даже гимназиста, съ утра до вечера сидящихъ надъ математикою, падъ греческимъ или санскритскимъ языкомъ; возьмите купца, цѣлый день проводящаго за прилавкомъ, мелкаго чиновника, иногда заваленнаго дѣлами, министра обширнаго вѣдомства, непрерывно принимающаго доклады и дѣлающаго распоряженія,—мало ли вокругъ пасъ этихъ людей, которымъ, что пазывается, "дохнуть некогда"?

¹⁾ Fragmente aus dem Orient. II, стр. 104, 105. Кстати: докторъ Морвиъ Бушъ думастъ совершенно иначе и выразился такъ: «Авонъ въ настоящее время естъ главный столиъ всей той глупости, отсталости и ограниченности, которая составляетъ сущность восточной православной церкви». (Die Türkei. Reise-Handbuch, 3-te Ausg. Wien, 1881, стр. 203). Кто бы ни былъ этотъ Бушъ, сейчасъ видво ученаго человѣка углубляющагося въ сущность вещей.

А между темъ, эти труды далеко не пугаютъ насъ такъ, какъ пугаетъ молитва. Мы вовсе забываемъ, кромѣ того, что, по своей сущности, она песравненно привлекательные всых подобныхъ дёль. Молитва вёдь есть обращение къ Богу, и, если только мы дёйствительно молимся, дёйствительно обращаемся къ Богу, она приводитъ нашу душу въ одно изъ высшихъ и отрадивишихъ состояній. Но, новидимому, здёсь приходится прибъгнуть къ тому же разсужденію, какое Платонъ (въ "Протагоръ") прилагаетъ къ добротъ души, именно, что быть добрымъ очень легко, но, если кто не добръ, то стать добрымь очень трудно. Такъ и молитва; она сладка для тёхъ, кто сердечно расположенъ молиться; но мы такъ мало чувствуемъ въ себѣ этого расположенія, мы съ такимъ трудомъ возбуждаемъ въ себѣ на недолгія минуты нѣкоторую тынь этого расноложенія, что всякое молебствіе очень скоро вызываеть въ насъ несносную борьбу и скуку, и для многихъ бываетъ истиннымъ мученіемъ.

Впрочемъ, мучениковъ вездѣ много, какъ справедливо замѣтилъ Л. Н. Толстой. Нѣкоторымъ изъ нихъ я часто дивился на нредставленіяхъ оперы. На сценѣ какая нибудь блистательная декорація; волны безподобной музыки несутся изъ оркестра, нѣвцы, въ напряженіи высокихъ чувствъ, въ которое ихъ

ноставила драма, изливають эти чувства выразительнъйшими мелодіями. А между тъмъ, передъ вами сидить зритель, мучительно недоумъвающій, что ему съ собой делать. Онъ несколько минутъ поглядъль на сцену и теперь взглядываеть по сторонамъ, смотритъ на потолокъ, вертится и передвигается на креслъ, наклоняетъ голову то направо то налѣво, подымаетъ руку и разсматриваетъ копцы своихъ пальцевъ, заглядываетъ на дно своей шляпы... Нътъ спасенія ни откуда! Наконецъ — антрактъ-онъ стремительно уходитъ, и иногда бываетъ такъ благоразуменъ, что уже не возвращается на мъсто своего мученія. Такъ трудно человъку быть свободнымъ душою, такъ трудно намъ, даже на короткій срокь, пожить чёмь нибудь другимь, кромѣ нашихъ личныхъ интересовъ, мелкихъ забавъ и заботъ, изъ которыхъ мы складываемъ свою жизнь и въ которыхъ за то купаемся, какъ рыба въ водѣ!

Въ монастырѣ мнѣ была предоставлена, разумѣется, полная свобода занятій и провожденія времени, и сначала я придержался того порядка, въ которомъ привыкъ проводить свой день. Но съ перваго же дня я, конечно, сталъ посѣщать церковныя службы, хотя и не всѣ, хотя часто приходилъ не къ началу и уходилъ далеко рапьше конца. Скоро, однако, равномѣрно-бьющійся пульсъ

монастырской жизни сталь мн ясно замътенъ и сталь увлекать меня за собой. Сидя въ своей кельѣ, я чувствоваль, когда монастырь спаль среди дня, чувствоваль, когда онъ просыпался и шель въ свои церкви. Кругомъ наступала полная тишина и безлюдье, и слабо доносилось съ разныхъ сторонъ церковное пѣніе. Когда, такимъ образомъ, совершенно яспо чувствовалось, что всв тамъ, всв стоять по своимь формамь, или священнод виствують, невозможно было оставаться одному въ своей кельъ. Я шель туда, гдв были всв, и становился въ свою форму *). И много, много отрадныхъ часовъ провель я въ этой формъ. Особенно любиль и всенощныя съ теми переменами въ освещении, въ пвніи и чтенін, которыя на Аоонв производятся съ такою выразительностію и красотою. Сперва молебствіе долго идеть равном'єрно; по потомъ освъщение усиливается отъ незамътно зажигаемыхъ свъчей, и два хора начинаютъ ноперемънио пъть торжественныя молитвы. Выносятся свъчи на середину церкви, выходять изъ алтари јерен въ ризахъ и тоже хоромъ начинаютъ пѣть. Вся церковь полна светомъ и звучить пеніемъ; ипогда зажи-

^{*)} Формою называють наши менахи стасидію, отдівльное місто у стіны, гді приділаны ручки, чтобы стоя можно было опираться локтями, а пногда и небольное откидное сидінье. Безь эгихъ формь долуія стоянія были бы невозможны, и каждый монахъ имбеть свою «форму».

гается и громадное среднее паникадило. Но понемпогу торжество стихаеть; пѣвчіе замолкають,
іерен уходять въ алтарь, свѣчи и паникадило незамѣтно гаснуть, и церковь постепенно погружается
въ мракъ и молчаніе. Только по серединѣ, въ темнотѣ, монахъ съ тоненькою восковою свѣчею въ
рукѣ читаетъ вслухъ книгу, пригибая горящую свѣчу
къ самой страпицѣ. Проходитъ полчаса, часъ, чтеніе
кончено, снова начинается молебствіе, начинаютъ
откликаться хоры, загораться свѣчи и лампады, и
и словословіе растетъ все громче и громче, и свѣта
все больше и больше. Великое изящество соблюдено въ церковныхъ нашихъ службахъ, и я коспулся здѣсь только самыхъ простыхъ и внѣшнихъ
его сторонъ.

Но есть ли жизнь въ этой прекрасной форм'ь? Для многихъ кажется непонятнымъ, какъ можно каждый день повторять все тѣ же молитвы и тѣ же священнодъйствія. Но скептики тутъ очень ошибаются. Пріятно намъ новое, еще небывалое; но и старое, тысячу разъ повторенное, можетъ дъйствовать на насъ съ полною своею силою, даже еще окръпшею отъ повторенія. Каждый день одно и то же слово, одна и та же мысль, можетъ вызывать слезы на наши глаза. Разумъется, однако, машинальность есть тотъ недостатокъ, противъ котораго всегда приходится бо-

роться при повтореніяхъ одного и того же. Вслушиваясь въ авонскія чтенія и молебствія, я часто быль поражаемъ удивительною искренностію и чувствомъ, съ которыми они совершаются. Тутъ каждое слово произносится отчетливо; тутъ никто не торопится, и каждый поеть и читаеть не для другихъ, а прежде всего для себя; совершается серіознѣйшее дѣло въ жизни этихъ людей, и ихъ молитвенное умиление звучить иногда съ невыразимою силою. Особенно удивляли меня пѣвчіе, у которыхъ, казалось бы, должно было отзываться физическое утомленіе послѣ всѣхъ долгихъ службъ; но, и въ концъ всего круга итнія, голоса ихъ звучали тымъ же искреннимъ чувствомъ, какъ въ началь. Не могу забыть также случая повторенной молитвы. Въ то время быль болень духовникъ, отецъ Іеронимъ, и были совершаемы за его здоровье особыя молитвы. За вечерней, канопархъ отецъ Ап. сталъ произносить передъ образомъ Богоматери: "Пресвятая Богородице, спаси и помилуй раба твоего Іеронима!" и повторилъ эти слова сорокъ разъ сряду. Велика была опасность впасть въ машинальность; но канонархъ молился искренно, и вст сорокъ разъ произнесъ свою молитву съ живымъ чувствомъ. И никакими словами невозможно описать ту трогательную выразительность, неотступность, иламенное усердіе, которыми зазвучала молитва отъ этого повторенія. Тутъ только я поняль необыкновенную красоту этихъ повтореній, когда ихъ дёлаютъ какъ должно.

Такъ живутъ аоонскіе монахи. Они живутъ въ церкви, на молитвъ, потому что остальное ихъ время и другія д'яла совершенно незначительны въ сравнении съ этимъ дъломъ. Какое право называть эту жизнь мученіемъ и истязаніемъ? Скор'ве можно сказать, что, если они достигають возможности истинно молиться, истинно благоговъть передъ священнодфиствіями, то опи живуть блаженною жизнью. Такъ мы воображаемъ ангеловъ, такъ мы представляемъ себъ, что сонмы ихъ постоянно предстоять передъ Богомъ и пе сводять своихъ взоровъ съ лица Божія. Для меня ивтъ никакого сомнівнія, что если есть монахи, съ борьбой и трудомъ нодымающіеся на высоту этой жизин, то есть не мало другихъ, въ которыхъ это уподобленіе ангеламъ внолив осуществляется. И тогда, что можетъ быть блажениве?

Впрочемъ, не стану настапвать; пусть въ моихъ впечатлѣпіяхъ и оцѣнкахъ можно замѣтить нѣкоторое пристрастіе. Прибавлю только одно: эти пепрерывныя молитвы неразлучно связались въ моей памяти съ мыслью объ Аоонѣ. Когда я всномию о своей поѣздкѣ и о любезпыхъ монхъ монахахъ, я не могу ихъ себѣ представить иначе, какъ въ церкви, за молитвой. Тамъ, за дальними морями, на свътломъ югъ, въ цвътущей своей пустынъ, они стоять въ большихъ и малыхъ храмахъ, съ лицами и сердцами, обращенными къ Богу. Когда бы я ни вспомнилъ объ нихъ, утромъ, или вечеромъ, или ночью, я знаю, что они дълаютъ: они ноютъ и славословятъ, или молчатъ и благоговъютъ. И вотъ уже тысяча лѣтъ, какъ восемь или десять тысячъ этихъ монаховъ совершаютъ эти непрерывныя молитвы, которыхъ я былъ очевидцемъ. При такихъ воспоминапіяхъ, при картинъ, возникающей въ моемъ воображеніи, умиленіе неотразимо проникаетъ въ душу, и пробуждается то чувство, которое такъ ярко горитъ на Авоиъ, — жажда молитвы.

⁹ Сент. 1889.



Изъ поъздки въ Италію.

(въ 1875 г.).

"Что такое искусство? Что такое исторія?" думаль я, когда повздъ двинулся и понемногу прекратились разговоры. На эти вопросы много можеть сказать Италія, и нужно только умѣть слушать ее и понимать.

Пусть не подумаеть, однако, читатель, что я ѣхаль съ опредѣленными цѣлями, что задавался мыслью что нибудь изучать, или рѣшать какіе нибудь вопросы. Поѣздка состоялась неожиданно; мы смотрѣли на нее какъ на прогулку, и выбрали апрѣль и май новаго стиля, какъ лучшее для этого время — по увѣренію всѣхъ "Путеводителей". Готовиться я не думаль и не имѣлъ времени даже не захватиль съ собой италіанскаго словаря.

Но мы, русскіе, находимся въ такомъ необыкновенномъ и напряженномъ положеніи, что иныя мысли невольно и всесильно овладъваютъ нами. Ни-

чего нътъ естественнъе, что русскій человъкъ, нережжая черезъ границу, почувствуетъ себя варваромъ, или, по крайней мъръ, станетъ ждать себъ великихъ поученій и откровеній. Мы, младшій нзъ великихъ народовъ, поставлены судьбою въ положеніе, в роятно, безприм рное въ исторіи, въ положеніе, тяжесть котораго чувствуется на всёхъ явленіяхъ нашей жизни. Мы живемъ въ безпрерывной борьбъ между влеченіями собственной природы, собственнаго развитія, и всемогущимъ вліяніемъ Европы. Мы то смиряемся передъ нею, какъ усердные школьники, то заносимся, какъ школьники взбунтовавшіеся; но равнодушными или спокойно-увъренными мы не можемъ оставаться. Та въра въ Россію, безъ которой мы не могли бы жить, какъ не можетъ жить и отдёльный человъкъ, потерявшій всякую въру въ себя — эта глубокая и непоколебимая вфра, конечно, живетъ въ насъ и иногда сказывается, но сказывается совершенно инстинктивно, въ формъ безсознательнаго чувства, котораго оправдать мы не умжемъ, которое, какъ задуваемое пламя, мечется во всъ стороны отъ ръзкихъ въяній нашей литературы, западнаго просвъщенія, почти всъхъ нашихъ понятій, сложившихся на европейскій ладъ. Даже тъ, кто не скрываетъ, а исповъдуеть эту въру, должны часто сказать съ поэтомъ:

Умомь Россію не понять, Аршиномъ общимъ не измѣрить; У ней особенная стать — Въ Россію можно только вприть!

Но я все говорю объ Россіи, а мий нужно говорить объ Италіи. Я хотёль бы разсказать — если съумёю — какъ Италія побёдила меня, какъ она овладёла мыслями, которыя были направлены совершенно въ другую сторону, какъ оставила въ душё неизгладимое впечатлёніе, котораго я не ожидаль и къ которому не готовился.

Путешествіе сділало свое діло. Путешествіе хорошо именно тъмъ, что оно освобождаетъ нашу душу отъ ея обыкновеннаго содержанія и дѣлаетъ ее, такимъ образомъ, доступною для мыслей болѣе общихъ и широкихъ. Уже когда вы сидите въ вагонъ, праздно глядя въ окно, вамъ предстоитъ одно изъ двухъ — или скучать по вашимъ обыкновеннымъ занятіямъ, по тёмъ заботамъ B VIOвольствіямъ, которыя мішають думать и такимъ образомъ облегчаютъ жизнь, или же заняться, какъ серіознымъ дёломъ, тёмъ думаньемъ, которое обыкновенно мы откладываемъ и даже отгоняемъ отъ себя, какъ помъху настоящему дълу. Потомъ вы видите предметы новые, то есть не связанные съ міромъ вашихъ привычныхъ представленій; вы часто остаетесь къ нимъ, поэтому, равнодушными, но, если заинтересуетесь, то это будеть уже общій, отвлеченный, чистый интересъ. Не смотря на то, сначала вы все еще полны мыслями собственной текущей жизни; если вы ѣдете не одни, отыщете знакомаго, получите письмо - нить этой жизни опять завязывается. Но проходить двё-три недъли, и вы чувствуете наконецъ, что нить совершенно разорвалась. Вы встаете утромъ въ незнакомомъ городъ, и чувствуете, что уже нътъ ни повода, ни нужды, ни возможности переворачивать въ умъ ваши петербургскія соображенія и чувства. Душа вполнъ чиста, вполнъ свободна. А кругомъположимъ въ Римѣ – исторія двухъ съ половиной тысячь льть, самая громкая изъ всвхъ исторій міра; кругомъ — единственныя по обилію и красотъ собранія произведеній искусства. Идите и смотрите и если вы теперь не поймете, что такое исторія и въ чемъ сущность искусства, то едва ли будетъ у васъ для этого лучшее время.

Мы только переночевали въ Варшавѣ, только сутки провели въ Вѣнѣ и пустились въ Венецію. Я ѣкалъ, еще не имѣя твердаго плана, еще не рѣшивши вполнѣ, какъ проведу эти два мѣсяца. Но когда мы переѣкали италіанскую грапицу, когда я вмѣсто нѣмецкаго услышалъ пѣвучій италіанскій языкъ, когда увидѣлъ эти красивыя, спокойныя и мягкія лица, эту спокойную, мягкую

въжливость - во мнъ шевельнулось радостное чувство, и я рѣшилъ, что кромѣ Италіи никуда не новду. Туть начинался другой мірь, люди другаго склада, другой исторіи. Въ самомъ дѣлѣ, отъ Петербурга до итальянской границы, какъ мнв показалось, не было замѣтно никакого рѣзкаго перехода. Польскій край не отдёляется рёзко отъ русскаго, и Австрія, которую я туть видёль первый разъ, оказалось прямымъ продолженіемъ нашего польскаго кран. Въ повздв, который везъ насъ въ Вѣну, ѣхалъ какой-то отрядъ солдатъ, и мы замътили, что многія лица имъли даже нашу славянскую физіономію. Вообще, Австрія не поражаетъ темъ порядкомъ, чистотою, возделанностію каждаго клочка земли, теми очевидными знаками настойчиваго и точнаго труда, которыми я быль пораженъ двенадцать леть назадъ, когда въ первый разъ перевхалъ границу въ Эйдкуненв. Но нужно сказать еще болье. Отъ Цетербурга до италіанской границы несомнівню существуєть какое-то однообразіе—въ одеждь, въ манерь держать себя, въ стрижкъ волосъ, постройкъ домовъ и т. д. Я никогда не думаль, чтобы нѣмецкое вліяніе было у насъ такъ сильно. Это трудноуловимое внъшнее сходство особенно ръзко бросилось мив въ глаза на обратномъ пути. Мъсяца полтора я бродиль по улицамъ итальянскихъ

городовъ и такъ же привыкъ къ ихъ физіономіи, къ фигурамъ ихъ жителей, какъ и къ ввчно-ясному небу. Пришлось наконецъ фхать-и я изъ Милана прямо перенесся въ Мюнхенъ, котораго никогда прежде не видалъ. Уже во время перетзда меня заинтересоваль одинь нѣмець, который всѣмъ, и ростомъ, и фигурой, и страшными нижними челюстями, живо напоминалъ Бисмарка; конечно, въ Италіи нѣтъ и тѣни такой породы людей, и я смотрълъ на него съ невольнымъ вниманіемъ. Но еще сильнъе меня поразила физіономія домовъ, когда мы стали подъбзжать къ Мюнхену. Въ нихъ было, во первыхъ, что-то мизерное и неизящное, а во вторыхъ, что-то знакомое, родное. Я вздохнулъ по Италіи, которая, вообще, никогда не казалась мнъ такою царственною, величавою, какъ въ эти два три дня, пока я тхалъ по Германіи. Впечатлвніе первыхъ домовъ Мюнхена усилилось, когда на другой день я сталъ гулять по городу, заходить въ музеи, кафе и т. д. Не съумъю точно выразить, въ чемъ дело, но я живо чувствовалъ, что здёсь не чудесный міръ Италіи, а все будничное, и при томъ очень похоже на наше. Напримъръ, меня удивили бюсты съ воротниками, подпирающими челюсти, съ усами, съ бакенбардами. Бюстъ съ банбардами!-ни одного такого бюста вы не встрътите въ цълой Италіи, а тамъ

дълають бюсты двъ тысячи лътъ! Но у всъхъ или полная борода, или все лицо голое.

И такъ, я остался въ Италіи и пробыль въ ней все время, какое было можно. Кромъ симпатін къ италіанцамъ, у меня прежде всего было желаніе насладиться природою; я воображаль чудеса, я думаль, что увижу что нибудь даже лучше удивительныхъ дней, проведенныхъ мною на южномъ берегу Крыма, что повторятся и будуть окружать меня по цёлымъ днямъ тѣ волшебныя картины, тъ сказочно прекрасныя краски и тіни, которыя я когда то виділь нісколько минуть на озеръ Четырехъ Кантоновъ, или въ гавани Ливорно, когда я прівхаль, туда моремъ при восходъ солнца. Но эти ожиданія не сбылись. Зима въ нынёшнемъ году была въ Италін суровая, и потому весна наступила поздно и слишкомъ быстро. Въ Венеціи было дождливо и холодно. Мы передвинулись прямо въ Неаполь (черезъ Анкону), но и тамъ было тоже. Такъ и и не видаль красиваго моря, то есть моря въ полной его красотв. Я ждаль въ Неанолв сколько можно, но такъ и не дождался настоящихъ неаполитанскихъ дней. Два три ясныхъ дня были слишкомъ вътрены и недостаточно теплы. Первые дни въ Римѣ-опять дождь, а потомъ быстро стало тепло, такъ что не было того средняю времени, которое такъ цвнятъ и прівзжіе и сами италіанцы. Такъ и случилось, что я не видаль того прозрачнаго воздуха, отъ котораю зависить вся прелесть видовъ, который мы, жители съвера, знаемъ только по картинамъ, и который въ действительности превосходить (въ одномъ, по крайней мѣрѣ, отношеніи), всякую картину. Картина, какъ извъстно. яснъе выражаетъ намъ смыслъ зрълища, его гармонію; она можеть даже передать ръзко впечатленіе цветовь, уловивь вполне ихъ контрасть, всю силу ихъ взаимнаго отношенія. Но можеть доставить того какъ-бы физическаго наслажденія, которое дается созерцаніемъ роскошныхъ красокъ и далекихъ видовъ въ дъйствительности. Туть глазь какь будто пьеть эти краски, какъ будто плаваетъ въ нихъ, тонетъ и погружается, и это впиваніе только вновь рождаетъ жажду, это погружение непрерывно освъжаетъ. Первое условіе такого наслажденія есть воздухъ, въ которомъ бы самые дальніе предметы обрисовывались совершенно отчетливо. Облака имъютъ мало красоты именно потому, что они мало отчетливы. Очевидно, органъ зрфнія (то есть не глазъ, а наша душевная сила) чувствуетъ радость своей деятельности, когда схватываетъ пространственныя отношенія вполнѣ опредѣленно. Другая его радость-пріятный цвѣтъ; но цвѣтъ предметовъ

всегда становится пріятенъ, какъ скоро вы ихъ видите на очень далекомъ разстояніи. Воздухъ отнимаетъ у красокъ ихъ рѣзкость и терикость; онѣ получаютъ нѣжный отливъ и какой то блескъ, такъ что, напримѣръ, дальнія горы стоятъ точно серебряныя или стекляныя.

Говорять: "увидёть Неаполь и потомъ умереть!" Въ этой поговоркъ, безъ всякаго сомнънія, подразумъвается "увидёть съ моря", увидёть издали весь амфитеатръ города, расположеннаго вокругъ залива на покатостяхъ горъ и спускающагося къ самому морю. Я очень старался увидать это зрѣлище въ его полной красотъ-и не видалъ. Я дважды пускался въ море на дрянномъ пароходь, который каждый день совершаеть увеселительную поъздку въ Сорренто, на Капри, и потомъ назадъ. Во второй разъ я долго выжидаль; утромъ я бывало тотчасъ выходилъ на набережную Santa Lucia (Hôtel de Rome стоитъ тутъ же на набережной) и смотрълъ на море. Выхожу разъ и вижу наконедъ, что утро восхитительное; море совершенно утихло, и по немъ пошли зеркальныя дорожки. Я тотчасъ собрался и думаль уже, что мое желаніе навърное исполнится, что я увижу ту картину, послѣ которой можно умереть. Но воздухъ оставался слегка туманнымъ, какъ и прежде; чти шире развертывался передъ глазами Неаполь, тъмъ хуже онъ былъ видънъ. И чѣмъ дальше мы илыли, тъмъ больше портилась погода; не успѣли мы доѣхать до Капри, какъ вѣтеръ усилился и по небу потянулись бѣлыя полосы, а къ вечеру, на обратномъ пути, мы не только не видѣли хорошенько Неаполя, а еще иззябли и шли съ порядочною качкою.

Гораздо больше и удачнее я насладился другимъ зрѣлищемъ - видомъ Неаиолитанскаго залива, темъ чудеснымъ видомъ, который открывается изъ самаго Неаполя и составляеть всегдашнюю картину, развернутую передъ его жителями. Лучшій видъ на эту картину, безъ сомнѣнія, съ набережной Santa Lucia, на которой я жилъ. Если представить себф Неаполитанскій заливъ въ видф подковы, то эта набережная прійдется на одномъ концъ подковы, а Везувій на другомъ. Santa Lucia имфетъ небольшое протяжение, и только съ нея открывается полная красота залива. Красота эта заключается въ томъ, что вы видите огромное пространство и множество предметовъ, видите большое протяженіе воды, загибающійся берегь, зданія его покрывающія, горы, которыя тянутся за ними, и на концѣ подковы — Везувій. Но этого мало, Несравненное достоинство этаго вида заключается въ томъ, что его обширность не превосходить силъ человъческаго зрънія и потому не сопровождается

никакимъ оптическимъ обманомъ. Не мало видовъ на земль, которые гораздо шире и разнообразнье: но обыкновенно зрвніе уже не въ силахъ схватить точное отношение предметовъ. Далекія горы кажутся близкими, одна громоздится на другую и, вообще, глазъ находится въ полной невозможности оцфиивать разстоянія. Между тімь, Везувій не кажется близкимъ съ Santa Lucia; все разстояніе отчетливо видно, такъ что громадные размфры горы, всф очертанія строеній, тянущихся вдоль залива, вся ширина самаго залива — не скрадываются, не сливаются, а именно развертываются, разспростираются. Глазъ отчетливо видитъ самое большое пространство, какое онъ въ силахъ видеть. Прибавьте къ этому чудесныя краски, прибавьте, что видъ заканчивается не простою горою, а живою, которая вѣчно дымить, въчно пламеньеть внутри — и вы получите эту несравненную картину, самую живую, самую отрадную для глазъ.

Santa Łucia именно по этому, по красотъ открывающагося вида, есть лучшее мъсто Неаполя. Она и по населенію составляеть одинь изъ его центровъ, но только для народа, а не для неаполитанской аристократін и не для пріъзжихъ богатыхъ людей. Народъ упорно удержаль за собою лучшее мъсто, и, такъ какъ оно, вслъдствіе этого, шумно, не опрятно и грязно, то богатые жители и туристы

расположились на другой набережной, Chiaja, которая подъ угломъ примыкаетъ къ Santa-Lucia. Кьяйя образуетъ длинную прямую линію, съ которой уже не видать залива, а видно только открытое море. Вдоль самаго берега тянется узкій садъ, такъ называемая Villa Reale — главное гулянье Неаполя. За садомъ идетъ узкая дорога для прогулки верхомъ; за этой дорогой — мостовая для катанья въ экипажахъ, за мостовой — рядъ огромныхъ домовъ, на половину отелей, которые, такимъ образомъ, смотрятъ своими окнами на открытое море. Въ праздничный день, въ воскресенье передъ объдомъ, то есть передъ закатомъ солнца, все здъсь бываетъ удивительно полно; нътъ конца пъщеходамъ, экипажамъ и верховымъ.

Къ сожалѣнію, зрѣлище довольно однообразно. Въ одной части сада есть, впрочемъ, чудесныя деревья, напримѣръ, нѣсколько огромныхъ финиковыхъ пальмъ. Какъ разъ на половинѣ линіи сада въ праздничные дни играетъ небольшой оркестръ военной музыки. Я купилъ себѣ не далеко стулъ и усѣлся такъ, чтобы какъ можно удобнѣе разсматривать гуляющихъ. Эта однообразная толпа щеголей оказалась небезъинтересною. Когда я просидѣлъ полчаса, всматриваясь въ гуляющихъ, я сталъ думать: "странно! здѣсь все молодые люди; куда же дѣвались старики?" Я сталъ внимательнѣе, и тогдатолько

замфтилъ, что у многихъ волоса на вискахъ и затылкъ сильно серебрятся. Усы, очевидно, подкрашены, а по чертамъ лида вы ни за что не отличите старика. У насъ въ тридцать лѣтъ на лицѣ человъка отпечатлъваются его страсти, его душевныя движенія, а у нихъ и въ нятьдесять лицо еще чисто, какъ у юноши, безъ привычныхъ морщинъ, безъ укоренившихся гримасъ. Какія чудесныя лица! Неаполитанцы славятся своею красотою — и справедливо славятся. Правда, русскія дамы все говорять, что лица ихъ мало выразительны, мало подвижны, похожи на парикмахерскія вывёски точно такъ какъ у италіанокъ наши мужчины не находять въ лиць игры ума, тонкой психической жизни. Но эти сужденія очевидно внушены пристрастіемъ къ нашему сѣверному типу красоты. Неаполитанцы — я говорю именно о неаполитанцахъ, а не о другихъ италіанцахъ - имѣютъ правильныя южныя черты, особенно замічательныя мягкостію. Я старался отдать себѣ отчетъ, въ чемъ состоить эта мягкость, и замётиль только, что углы нижней челюсти у нихъ какъ-то сглажены. Странно, что женщины представляють совершенно тотъ же типъ, но не только не красивы, а скорбе дурны.

А какъ держатъ себя эти красивые мужчины! Вотъ образецъ хорошихъ манеръ, въ наилучшемъ

смыслѣ этого слова. Никакой изысканности или чопорности, ни тени франтовства, фатства, холодности, надутости и тому подобнаго. Все такъ просто, мягко, ясно и спокойно, какъ только можно пожелать. Я помню, какъ однажды; идя по главной улицѣ Неаполя, я все больше и больше поражался спокойствіемъ и ясностію этихъ лицъ, безъ конца мелькавшихъ предо мною. Я всматривался, желая подмътить выражение страдания, озабоченности, какого нибудь напряженія, - и не находиль ничего. Въ самый разгаръ уличнаго движенія и на лицахъ самыхъ последнихъ бедниковъ не было даже торопливости. Вдругъ на поворотъ мнъ чтото загородило дорогу. Это быль пышный открытый экипажъ, въ названіи котораго боюсь ошибиться. Я подняль глаза: въ немъ сидели, ожидая чего-то, пожилая дама и пожилой мужчина, и на лицахъ ихъ мнъ бросилось въ глаза такое выразительное смѣшеніе тщеславія, раздраженности и изношенности, что контрастъ съ окружающимъ населеніемъ вышель необыкновенно разкій. Дайствительно, это были прівзжіе, и даже — русскіе.

Право, удивительное внечатлѣніе производить уличная толна въ Италін. Они всѣ чистенько одѣты; они не кричатъ, не толкаются, не харкаютъ, не сморкаются, и, вѣроятно, не плевали бы, если бы безспрестанно не курили. Если кто нибудь толкнетъ

васъ или отхаркнется надъ самымъ ухомъ -- носмотрите хорошенько, и вы всегда найдете, что это нъмецъ, методически совершающій путешествіе для повершенія своего образованія. Пьяныхъ въ Италіи ніть; если же когда и случится такой гріхь, сейчасъ видно, что они не умѣютъ и быть пьяными. Отъ лишняго вина они не оживляются, а засыпають какъ дети. Мнё довелось раза два видъть эти идиллическія сцены, и каждый разъ почему-то въ театръ. Театры я усердно посъщалъ, несмотря на то, что главные были уже закрыты. Италіанцы слушають музыку и смотрять драматическія представленія съ самою напвною жадностію, и тишина въ театрахъ прерывается развѣ только восклицаніями въ полголоса, - знаками живъйшаго наслажденія. И музыка, и пѣніе, и игра все очень върно и правильно, хотя на мелкихъ театрахъ, разумъется, оркестры ничтожные, голоса крошечные и актеры рядовые. Я слышалъ однако безподобнъйшую Церлину въ "Фра-Діаволо", и чудеснаго гуляку офицера въ опереткъ "Educande di Sorrento", пьесъ домашняго неаполитанскаго сочиненія. Они и въ совершенств в, хоть и небольшими голосами.

Вѣжливость эсть неизмѣнная черта италіанцевъ — и какая вѣжливость! Простая, спокойная, ровная, не заученная, а присущая въ самой крови.

Французы, знаменитые своею въжливостію-и тъ зам вчають эту черту, какъ что-то особенное. Такъ Тэнъ, отзывающійся съ величайшимъ презрѣніемъ, хотя и добродушнымъ, о невѣжествѣ италіанцевъ. объ ихъ праздности и распутствъ, о скудости ихъ Умственной и политической жизни, говорить, однако, что жить среди такого въжливаго населенія пріятно. Но меня эта черта наводила иногда на грустныя размышленія. Вѣжливость — вѣдь это добродетель старыхъ народовъ, это признакъ долгой опытности. Все время, какъ я былъ въ Италіи, я невольно вспоминаль, что нахожусь среди народа, которому отъ роду не тысячу лёть, какъ намъ русскимъ, а двъ тысячи съ половиной. И я совершенно увъренъ, что нынъшніе жители Неаполя имъютъ еще много сходства съ жителями древней Партенопен, и что нын вшніе римляне все еще похожи на римлянъ временъ Цезаря. Неаполитанцы немножко нищіе и попрошайки, римляне, напротивъ, до сихъ поръ сохранили частицу гордости, когда-то свойственной городу, владычествовавшему надъ міромъ. И такъ, исторія не сгладилась и не можетъ сгладится до конца: она живетъ въ крови и въ душѣ этаго населенія. Вотъ гдѣ, въ этой длинной исторіи, какъ мнѣ казалось, источникъ врожденной въжливости италіанцевъ. Когда народъ долго и много жилъ, онъ знаетъ, что для взаимнаго удоб.

ства, для спокойствія отношеній, для легкости жизни, всего необходимѣе не братская любовь, не взаимное уваженіе, не строгая справедливость, — вещи трудно достижимыя и часто очень неудобныя, — а нужно то внѣшнее равенство и вниманіе, та внѣшняя уступчивость и готовность къ услугамъ, которыя составляють вѣжливость.

Есть у италіанцевъ еще явный признакъ, что они народъ старый, много жившій и испытавшій: это ихъ dolce far niente. Они знають толкъ въ праздности и умбють ею пользоваться. Этоть народъ когда-то быль такъ деятелень и энергиченъ, что его деятельность и энергія остались въ исторіи въчнымъ и недосягаемымъ образцемъ. Теперь они знаютъ всю тщету дъятельности, они пережили увлечение всякими подвигами, всякимъ величіемъ, н, хотя они не сдёлались отшельниками, не отреклись отъ міра, они, однако, какъ будто питаютъ въ тайнъ убъждение, что ничего не дълать лучше, счастливъе, чъмъ суетиться по напрасну. Нътъ никакого сомнинія, что Италія помнить свою исторію, и что эта исторія ее подавляеть. Вотъ отчего въ этой странк чувствуется такая спокойная, ясная тишина, не смотря на всякія поверхностныя и мфстныя волненія

Когда я вернулся въ Петербургъ, въ три дня перенесшись сюда изъ Милана, я былъ пораженъ

ръзкимъ контрастомъ. Железныя дороги своею быстротою и своими закупоренными вагонами удивительно способствують ощущеніямь такихъ контрастовъ. Я вдругъ попалъ въ большую суету: вет заняты, вст торопятся; на лицт каждаго прохожаго вы прочитаете очень ясное выражение хлопотливости, самодовольства, радости, труда, насм'вшки... Подвижныя и разнообразныя лица ни на минуту не остаются спокойными. А сверхъ того: всь улицы чинятся, на каждой строятся и красятся дома, вездъ заборы и тачки, всъ каналы полны барокъ съ кирпичами и известкой, и ни одного человька гуляющаго по этимъ улицамъ — былъ конецъ мая, и всѣ, кто можетъ и умфетъ гулять, уже нокинули городъ. Словомъ, Петербургъ имѣлъ всѣ признаки города, который только еще строится, а его жители — людей очень мало жившихъ на свътъ. "О, мы еще молоды и еще свъжи!" подумалъ я.

Неаполитанскій заливъ открывается со многихъ точекъ Неаполя, хотя, разумѣется, изъ улицъ, большею частію страшно узкихъ, и изъ домовъ, стоящихъ сплошными массами, его не видать. Но недавно стали проводитъ и уже почти кончили иовую очень длинную улицу — Corso Vittorio, довольно широкую и отлого подымающуюся и извивающуюся по горѣ; съ этой улицы безспрестапно

видѣнъ заливъ. Я любовался заливомъ однако же еще лучше, чѣмъ съ Corso Vittorio; въ самый ясный мой день въ Неаполѣ я былъ въ монастырѣ Санъ-Мартино, который стоитъ на самой высшей точкѣ Неаполя; видъ оттуда безподобный.

Этотъ монастырь сто́нтъ вниманія, и мое посѣщеніе принесло мнѣ много и удивленія, и самаго глубокаго наслажденія.

Утромъ я вышелъ по обыкновенію бродить, и на Via Chiaja (не набережная, а улида, ей параллельная) зашелъ въ маленькую кофейную вынить чашку чернаго кофе. Я решился идти въ монастырь нешкомъ, и потому сталъ спрашивать у хозянна кофейни дорогу. (Кстати — какое удовольствіе пытаться говорить на незнакомомъ языкѣ, и чувствовать, что можешь вести маленькій разговорь!) "А вотъ, отвѣчалъ онъ, войдите налѣво во вторую дверь отсюда, подымитесь въ третій этажь, и перейдите мостъ — а тамъ все прямо, все прямо!" Такъ я и сделалъ; и вошелъ въ какой-то домъ и въ третьемъ этажъ, не безъ удивленія, нашелъ выходъ на мостъ, который перекинутъ черезъ улицу и однимъ концомъ упирается въ этотъ домъ, а другимъ продолжается въ поперечную улицу. Я пошелъ по ней и сталъ подыматься все выше и выше. Скоро улица, удобная для экипажей, прекратилась и началось печто среднее между улицей

и лѣстницей. Мнѣ предложийи осла — я отказался, и напрасно. Хотя снизу, съ берега, монастырь кожется близко, я цѣлый часъ подымался по этимъ отлогимъ ступенькамъ, и если не уморился до конца, то только благодоря чудесному воздуху и чудесному виду, который открывался тѣмъ шире, чѣмъ выше я всходилъ.

Наконецъ, вотъ ворота. Такъ какъ я очень неприлежно штудировалъ своего Бэдекера, то я вообразилъ, что тотчасъ увижу монаховъ, заготовилъ нѣсколько вопросовъ по итальянски и соображалъ — не застану ли какой службы. Во мнѣ заговорило любоиытство и чувство нѣкотораго умиленія. Вхожу въ ворота — пусто, никого нѣтъ. Прохожу въ другія ворота — онять пусто, и только стоятъ какіе-то запряженные экипажи. А! нодумалъ я: это богатые богомольцы — вѣрно есть служба. Перехожу дворъ и хочу нройти въ третьи ворота мимо какихъ-то военныхъ. "Возьмите билетъ", говорятъ мнѣ. Вижу столикъ и за нимъ солдата съ билетами. "Сколько? — Одинъ франкъ".

Какое разочарованіе! Монастырь управднень и правительство показываеть его за деньги. Я взяль билеть, вошель въ какой-то крытый дворикь, отказался отъ провожатаго и сёль отдыхать на отворениомъ балконъ. Моръ блестьло великолъпной лазурью; видънъ былъ не только заливъ, но н тотъ горизонтъ, который открывается съ Chiaja. Я зналъ, что цвътъ нео́а бываетъ несравненно гуще, что дымъ изъ Везувія иногда подымается узкимъ столбомъ, а не сносится вътромъ, какъ теперь; но и то, что я видълъ, было очень ярко, очень красиво, очень радостно.

Отдохнувши, я пустился бродить одинъ по монастырю и скоро пональ въ монастырскій дворь, тоть самый, о которомъ пишеть Тэнъ, какъ о главной красѣ монастыря. Постройка такихъ дворовъ (chiostro) вездъ одинакова; по всъмъ четыремъ стънамъ идутъ галлерен или портики, сторона которыхъ, обращенная во дворъ, состоитъ изъ ряда колониъ, подпирающихъ легкія арки. Дворъ, въ которомъ я очутился, быль очень великъ и представляль неравненное великолбије. Полъ, колонны, перила между ними, барельефы на стрнахъ, колодезь посреди двора, ограда, илиты и намятники кладонща, занимающаго одинъ уголъ двора-все было изъ бълаго мрамора, мрамора удивительной бълизны и, кром'в того, полированнаго. Ряды колоннъстройныхъ, сіящихъ-составляли чудесное зрфлище. На низкой оград в кладбища лежали черепа изъ полированнаго мрамора, какъ-будто настоящіе костяные черена. Я ходиль по этимь мраморнымъ галлереямъ, и не могъ досыта налюбоваться ими. Тутъ когда-то, думалъ и, прохаживались

монахи, навсегда ушедшіе отъ міра въ это уб'єжище. Теперь все пусто. Ходить одинъ сторожъ и метелкой обмахиваетъ рѣзьбу мраморныхъ перилъ, какъ будто эта драгоцѣнная вещь стоитъ не на открытомъ воздухѣ, не на дворѣ, а гдѣ-нибудь въ залѣ большаго музея. Большей про стоты и болѣе царскаго вѣликолѣпія невозможно придумать для мѣста посвященнаго созерцательнымъ прогулкамъ.

Долго и не могъ вырваться изъ очарованнаго двора; наконецъ, принялся искать выхода, прошелъ одинъ, другой корридоръ, отворилъ маленькую дверь, — вижу какую-то большую залу. Вхожу,
вижу сторожъ съ метлой и въ шапкѣ говоритъ о
чемъ-то съ солдатомъ въ кени. Осматриваюсь — да
вѣдь мы въ алтарѣ! Я невольно снялъ шляпу.
Зачѣмъ же кощунствовать? Зачѣмъ безъ всякой
нужды и цѣли выказывать неуваженіе, или даже
только пренебреженіе, къ предметамъ, которыхъ
весь смыслъ—въ глубочайшемъ благоговѣніи?

Я вышелъ на средипу пустой церкви, подпялъ гляза и обомлѣлъ отъ восхищенія. Колонны, своды, карнизы, мраморные завитки и перилы — все какъ-будто пѣло и играло, какъ-будто подымалось, закруглялось, вилось, протягивалось въ стройныя линіи, неслось одпо надъ другимъ, опиралось одпо на другое. Впечатлѣнія прекрасной архитектуры

невыразимы словами. Я слышаль во всемь что-то живое, какую-то свътлую и тихую гармонію. Воть и опустиль глаза—и все исчезло; подымаю глаза—и опять все поеть, и невозможно пасмотръться.

Перковь эта имъетъ свътлый, радостный характеръ, безъ всякой тъни мрачности и страха; она очень величава, но безъ того величія, которое подавляетъ. Въ ней все изъ мрамора разныхъ цвътовъ, больше всего свътлыхъ. Статуи и барельефы—полированы самымъ тщательнымъ образомъ, такъ что производятъ не привычное намъ внечатлъніе мрамора, а походятъ на отличный фарфоръ, покрытый глазурью. Сначала это странно, но потомъ глазъ находитъ въ этой политуръ большую пріятность. Нъкоторыя статуи Микель Анджело (напримъръ Моисей) тоже полированы.

Нотолокъ и стѣны церкви покрыты огромными картинами, копечно, лучшихъ художниковъ. Но и не сталъ на нихъ смотрѣть, я старался только насытить свои глаза зрѣлищемъ удивительнаго зданія; съ сожалѣніемъ взглянулъ я даже на англичанина, который вошелъ послѣ меня, снялъ шляпу такъ же какъ и я, но тотчасъ же уперся глазами въ свой гидъ, отыскивая, что именно слѣдуетъ здѣсь смотрѣть, и пошелъ методически отъ одной картины къ другой. Я не смотрѣлъ на картины, и это былъ первый опытъ, показавшій мизь сла-

бую сторону живописи вообще. Я потому могъ не смотръть на картины, что онъ не имъють постаточно силы, чтобы заставить на себя смотрать. Вообще говоря, это довольно тусклыя пятна, которыя нолучають смысль только при нарочномъ вниманіи, на нихъ обращенномъ. То ли дівло статуя, сводъ, колоннада! Тутъ вы, напротивъ, не можете уйти отъ впечатл'внія, не можете не видіть. Картина требуетъ большой сохранности, хорошаго освъщенія, - и при всемъ этомъ нужно еще выбирать точку, гдф стать, ту единственную точку, съ которой надлежащимъ образомъ видна картина. Я говорю здёсь о картинахъ масляными красками; фрески уже имъютъ то преимущество, что этой точки выбирать не нужно, что можно идти мимо изображенія и опо не искажается передъ вашими глазами. Въ монастырскихъ переходахъ-вотъ гдъ настоящее мѣсто фрескъ, гдб онѣ достаточно освѣщены, ваходятся на надлежащей высоть, представляють вей условія, при которыхъ можно долго и удобно созерцать живописное изображение. А еще лучие живопись на стеклахъ оконъ. Только она обладаетъ всею силою и прелестью, какую могуть имать краски и фигуры, изображенныя на плоскости. Эффектъ нфсколькихъ т зихъ картинъ въ Миланскомъ соборъ-поразителе ь.

Другое дѣло, говорю, статуя. Она бросается

пъ глаза во сто разъ сильнѣе, чѣмъ картина; обойдите ее кругомъ—вы не потеряете, а съ каждымъ шагомъ уясните себѣ и усилите ваше впечатлѣпіе. И если вы ее уже знаете, то издалека, въ полутьмѣ, даже завидѣвъ только часть, голову или руку, вы почувствуете всю силу фигуры.

Но всего неотразимѣе дѣйствуетъ внутренностъ храма. Когда войдете въ Пантеонъ, то куда бы вы ни обратили взоръ, гдѣ бы ни стали и какъ бы ни пошли, зданіе будетъ обнимать васъ своимъ впечатлѣніемъ, не дастъ вамъ ни на минуту выйти изъ-подъ своего вліянія. Таково дѣйствіе готическихъ храмовъ, напримѣръ св. Стефана, которому я удивлялся въ Вѣнѣ; таково дѣйствіе и церкви въ Санъ-Мартино.

О томъ, чъмъ достигается эта цѣльность внечатлѣнія, эта сила охватыванія, я покамѣсть не стану говорить. Замѣчу только одно обстоятельство — монастырь Санъ-Мартино не имѣетъ никакой красоты снаружи, не предстаеляетъ никакого вида; такъ и его чудесная церковь хороша только внутри. Впослѣдствіи я убѣдился, что это не случайность, а, очевидно, дѣло сознательное и умыш ленное, что, тогда какъ мы хлопочемъ о красивой наружности нашихъ церквей и зданій, тутъ все жертвовалось внутренности зданія. Цантеонъ, Ватиканъ—снаружи ничего не представляютъ и не должны были представлять: между тёмъ внутри Пантеонъ—конечно, первое зданіе въ мірѣ; а Ватиканъ наполненъ внутри чудесными лѣстницами, залами, церквами, наконецъ, заключаетъ въ себѣ сады и дворы, устроенные съ величайшей художественной обдуманностью. Какой прекрасный и въ высшей степени правильный разсчетъ! Не есть ли внутренность—настоящая цѣль, главный смыслъ зданія? И что хорошаго, напримѣръ, въ такомъ храмѣ, какъ нашъ Исаакіевскій соборь, который снаружи красивъ, особенно издали, но внутри не производитъ никакого впечатлѣнія?

Я оставилъ Санъ-Мартино сытый духовно и отчасти растроганный. Передо мною мелькнула минувшая жизнь, которая тутъ оставила не слѣды свои, а полное, законченное выраженіе. Монахи, жившіе въ этомъ монастырѣ, очевидно располагали возможностью устроить себя такъ, какъ только хотѣли, какъ имъ могло вздуматься. Они выбрали самую живописную точку Неаполя и нанолнили свое жилище чистымъ какъ снѣтъ мраморомъ. На всякую мелочь они положили печать своего характера, все устроили въ совершенной гармоніи съ духомъ своего благочестія, свѣтлаго, чистаго, радостнаго благочестія. Кто бы ни были эти люди, и каковы бы они ни были въ дѣйствительности, но въ идеѣ они были и хотѣли быть такими, какъ этотъ монастырь.

И что же теперь? Монастырь пусть; онъ-трунъ, сохранившій и красоту и даже выраженіе нъкогда жившаго человъка, но уже не имъющій души, уже беззвучный, холодный, неподвижный. Онъ однако же не только продолжаетъ существо. вать, но получилъ повидимому новое, совершенно определенное отправление, новую жизнь. Для поученія жителей Неаполя и прівзжихъ иностранцевъ онъ обращенъ въ музей, не просто какъ помѣщеніе, нѣтъ-всѣ его постройки, вся его утварь - обращены сами въ предметы искусства. Церковь и дворъ-это образцы зодчества, алтари и распятія-образцы скульптуры, иконы-образцы живониси. Все получило новый смыслъ и въ качествъ предметовъ, имфющихъ этотъ смыслъ, сберегается, показывается и разсматривается. Сторожа обмахивають пыль можеть быть даже тщательное, чъмъ дълали это монахи, и англичане, приближан лицо къ самому престолу, тонко обсуждають достоинство камней, металловъ и работы. Вирочемъ, къ монастырю, для большей поучительности музея и чтобы утилизировать мёсто, едёланы нёкоторыя прибавленія; въ большой залѣ стоитъ чудовищной величины золотая карета, въ которой кто-то когдато совершаль свой въйздъ въ Неаполь. Есть также съдла совершенно необывновенныя, и другія подобныя древности.

Черезъ місяцъ послі моего хожденія въ Сапъ-Мартино, я видълъ другой монастырь, несравненно болье знаменитый и точно также обращенный въ предметъ искусства. Это Санъ-Марко во Флоренціи, монастырь Савонаролы и Беато Анжелико. Изъ него также сдёлали музей, обратили его въ хранилище вещей достойныхъ изученія, состоящее, впрочемъ, почти исключительно изъ самаго монастыря. Вамъ показываютъ удивительно-сохранившіяся фрески, которыми расписаны всѣ стѣны монастырскаго двора и изъ которыхъ многія писаны самимъ Анжелико; потомъ ведутъ въ кельикаждая изъ нихъ драгоценность, потому что въ каждой такой крошечной комнать есть фреска, составлявшая когда-то икону для монаха, а теперь составляющая образецъ искусства извъстнаго періода. Наконецъ, сторожъ, въ надежді на десять сантимовъ, предложилъ мнъ отворить стеклянную дверь въ огромную залу, наполненную знаменами всей Италіи, которыя здёсь помёстили не помню какому случаю; къ огорченію его я отказался. Знамена не предметь художества, а эти не были даже предметомъ археологіи-я не хотёль нарушать цёльности своего впечатлёнія.

Церковь Санъ-Марко еще не принадлежитъ къ предметамъ музея: въ ней продолжаетъ совершаться богослужение.

Эти монастыри были для меня однимъ изъсамыхъ поразительныхъ зръдищъ въ Италіи. Мит казалось, что туть и вижу на дёль, на живомъ факть-судьбу некусства, тоть законь, по которому идетъ его исторія. Нѣкогда искусство было въ тъсной связи съ жизнью, составляло ея органаческую принадлежность; теперь оно совершенно оторвано отъ жизни, не имфетъ къ ней прямаго, живаго отношенія, существуєть въ отвлеченномъ видъ. Люди, строившіе монастырь, предполагали вести определенный образъ жизни, посеятить себя извъстнымъ занятіямъ. Для этого строились кельи, переходы, храмы; для этого на стънахъ писались картины, въ нишахъ ставились статун; для этого въ извёстномъ мёстё ставился органъ, и сочинялись музыкальныя пьесы, имфющія опредфленный смыслъ и исполнявшіяся въ опредёленное время. Словомъ-искусство имѣло полную жизненность.

Нынче все перемѣнилось. Художникъ, точно такъ же какъ писатель и ученый, не имѣютъ нынче ни установившихся цѣлей, ни опредѣлив шейся публики; они не знаютъ, надъ чѣмъ именно слѣдуетъ трудиться и для кого именно они трудятся. Они предоставлены самимъ себѣ, должны въ себѣ самихъ найти свои задачи. И вотъ, художникъ или ученый, ни съ чѣмъ ни связанный, ни чѣмъ не направляемый, создаетъ въ своей комнатѣ

книгу, картину. симфонію, и затъмъ бросаетъ ее въ житейское море, въ темныя волны публики. Твореніе изчезаетъ изъ глазъ своего творца, погружаясь въ эти волны и носясь по всякимъ вътрамъ. Ему ивтъ назначеннаго мъста и употребленія. Кто-нибудь, человікь неизвістный писателю и художнику, купить книгу и будеть ее читать, запершись въ своемъ кабинетъ, купить картину, или статую - и помъститъ ее въ своей комнать, въ такомъ углу, на такой стынь, о которой художникъ не знаетъ и даже не думаетъ. Понятно, что у насъ архитектура сама по себъ, живопись сама по себъ, а книги не имъютъ ничего общаго ни съ тою, ни съ другою. И понятно, что искусство должно страдать отъ этого, что оно дробится и понижается. Оно естественно спускается на уровень, на которомъ катятся волны публики. Поэтому вмъсто книгъ являются газеты, журналы; поэтому романъ, картина и статуя все больше и больше склоняются къ жанру. Создается лишь то, что понятно и удобно для отдельнаго лица, пропвътаетъ комнатное искусство, а не искусство соотвътствующее какой нибудь общей жизни, какимъ нибудь идеямъ, стоящимъ выше толпы и отдельныхъ лицъ.

И это видно въ Италіи. Н'єть конечно страны болье богатой произведеніями искусства; она вся

изукрашена ими; ея улицы, площади, дома-часто представляють не просто мъста, удобныя для того, чтобы жить, ходить и бздить, а истинно-художественныя созданія, назначенныя для того, чтобы ихъ созерцать. Бродивши полтора мѣсяца по Венеціи, Неаполю, Риму и Флоренціи, я вынесъ изъ этихъ городовъ такое впечатлъніе изящества, градіи, пышности, величавости, что Италія, эта бъдная Италія, гдф на первый взглядъ все имфетъ видъ тусклый и изношенный, все покрыто нылью и отчасти грязью, -- Италія теперь встаеть передо мною въ какой-то дарственной роскоши, о которой нельзя и думать другимъ странамъ. И это впечатлъніе художественности ясно распадается для меня на два отдела: одинъ разрядъ созданій искусства составляють остатки древняго міра, другой - памятники среднихъ въковъ и возрожденія; но нынѣшней красоты, современныхъ произведеній искусства я не видаль, или почти не видаль. Въ тъ прошлыя времена искусство очевидно, жило могучею, великою жизнью, и плоды этой жизни на лицо: какъ оно живетъ нынчетрудно разсмотръть и мудрено сказать.

Чтобы отыскать современное искусство, нужно идти не на форумъ, не въ храмъ или монастырскій дворъ, а въ мастерскія самихъ художниковъ, или на выставки, или накопецъ въ музеи, въ част-

ныя и казенныя галлереи. Это обстоятельство всего лучше показываетъ, что въ наше время художественныя произведенія не им'єють каждое своего мъста, и потому ихъ можно помъстить гдъ угодно, и следовательно поставить въ такое место, которое ни для чего не служить, въ которомъ никто не живетъ и никто вичего не дълаетъ. Что такое музей? Это не пом'єщеніе для челов'єка, а пом'єщеніе для вещей, какъ кладовая, какъ мебельная лавка, какъ комната, наполненная коллекціею старинныхъ предметовъ, гдъ жить неудобно уже по самому множеству этихъ предметовъ и потому, что они не приспособлены и даже не годны ни въ какому употребленію. Такъ точно и музыканть въ наше время пишетъ симфонію не для того, чтобы она исполнялась въ храмъ во время молитвы, или въ бальной залъ во время танцевъ, или на площади во время деремоніальнаго марша войскъ; нѣтъ-онъ пишетъ ее прямо для концертной залы, то-есть такой залы, въ которую люди сойдутся только за темь, чтобы выслушать его симфонію, и которая ни съ этою симфоніею, ни съ чёмъ другимъ не им веть никакого отношенія. И такъ, нып шнее искусство сдёлалось чрезвычайно отвлеченнымъ, и въ такомъ-то смыслѣ, мнѣ кажется, можно сказать, что именно нынче госнодствуеть искусство для искусстви.

Эти мысли были мнѣ невольно и неотразимо внушены въ Италіи тѣмъ, что я видѣлъ. Много дней я ходилъ по римскимъ и флорентинскимъ галлереямъ, и каждый день съ новою силою чувствовалъ, что передо мною искусство, разорвавшее свою связь съ жизнью; номимо своей воли я становился на точку зрѣнія отвлеченнаго искусства. Чистое искусство, искусство, имѣющее свою цѣль само въ себѣ—вотъ настоящая идея всякой галлереи, всякаго музея, вотъ смыслъ собраній Ватикана, Капитолія, Уффици.

Что же открывають намь эти богатѣйшія въ мірѣ собранія? Въ чемъ состоить сущность искусства, взятаго отрѣшенно? Чему оно насъ учить, къ чему ведеть, зачѣмъ существуетъ?

Не буду здёсь развивать своихъ мыслей, которымъ я такъ удобно предавался вдали отъ всякихъ заботъ, самъ отрёшившись на время отъ всякой жизни. Лучше я приведу одно мёсто изъ книги Тэна "Voyage en Italie", которую я тогда читалъ. Это мёсто поразило меня своею правдою и очень удивило у такого писателя, какъ Тэнъ; можетъ быть и читатели раздёлятъ мое удивленіе. Отъ 14-го апрёля 1864 года онъ пишетъ своему пріятелю изъ Флоренціп, послё посёщенія Уффици:

"Что можно сказать объ галлерев, въ которой тысяча триста картинъ? Я, по крайней мврв, от-

казываюсь; читай лучше каталоги, пересмотри эстампы, или, всего лучше, самъ прівзжай сюда. Впечатленія, выносимыя изъ этихъ огромныхъ магазиновъ (это слово, я полагаю, импеть здись у Тэна смысль "кладовыхь") слишкомъ разнообразны и слишкомъ многочисленны, чтобы возможно было передать ихъ на письмъ. Замъть, что Уффици составляють общій складь, вь роді Лувра: картины всѣхъ временъ и всѣхъ школъ, бронзы, статуи, ръзныя работы, терракотты древнія и новыя, ка бинеть дорогихъ камней, этрусскій музей, портреты живонисцевъ, писанные ими самими, двадцать восемъ тысячъ оригинальныхъ рисунковъ, четыре тысячи камеевъ и вещей изъ слоновой кости, восемьдесять тысячь медалей. Туда идешь какъ въ библіотеку; туть есть все въ сокращенномъ видъ и въ образцахъ. Прибавь, что кромъ того ходишь въ другія собранія, въ Palazzo Vecchio, въ палаццо Корсини, въ палаццо Питти. Замътки накопляются, но я не нахожу, что можно бы отобрать изъ этой массы. Мнъ кажется, что я пополнилъ, исправилъ, оттънилъ нъкоторыя изъ своихъ прежнихъ понятій; но въдь поправокъ, дополненій, оттънковъ не разсказывають".

"Самое простое — бросить мысль объ изученіи и прогуливаться для своего удовольствія. Подымаешься по большой мраморной лѣстницѣ; прохо-

дишь перелъ знаменитымъ древнимъ вепремъ; входишь въ длинный корридоръ въ видъ подковы, уставленный бюстами и увъшанный картинами. Около десяти часовъ утра посътители редки; молчаливые сторожа стоять въ углахъ; кажется, что ты туть полный хозяинь. Все это твое, и какая чистота и удобство! Приставлены консерваторы и слуги, чтобы тщательно стирать и обмахивать пыль и держать все въ строгомъ порядкъ и сохранности; все идеть само собою, безь толчковь и зацынокь, безъ всякой нашей заботы; это идсальный мірь, такой, въ какомъ намъ слъдовало бы жить. День прекрасный; свътлыя стекла бросають лучи на далекія білыя статуи, на розовый женскій торсь, который какъ живой выступаеть изъ тъни. Необозримо тянутся ряды мраморныхъ императоровъ и боговъ, вплоть до техъ оконъ, изъ которыхъ видно, какъ Арно движетъ свои мелкія волны, отливающія чернью. Невольно предаешься отчужденію и кроткому спокойствію отвлеченной жизни; воля теряеть свое напряжение, внутренняя тревога утихаеть, чувствуешь, что становишься монахомьсовременнымь монахомь. Туть, какъ нѣкогда въ монастыряхъ, наше внутреннее нѣжное существо, постоянно подавляемое надобностію дійствовать, понемногу раскрывается и вступаеть въ общеніе съ образами, освобожденными отъ необходимостей жизни. Такъ хорошо—несуществовать! Такъ естественно несуществовать! И какъ безмятежно мирно это иарство человъческихъ образовъ, изъятыхъ изъ человъческаго водоворота! Чистая мысль, переходя отъ однихъ изъ нихъ къ другимъ, сознаетъ, что ея иллюзія только временная: но она раздъляєть съ ними ихъ безтълесную тишину и ясность, и мечта, возсоздающая ихъ вождельнія и неистовства, даетъ нашей душѣ пищу, но не возмущаетъ насъ" *).

Этимъ мѣстомъ, исполненнымъ такой глубины и правды, Тэнъ обязанъ своей искренности и той чрезвычайной легкости, съ какою онъ описываетъ всякое, даже мимолетное свое настроеніе, и все даже мелькомъ имъ видѣнное. Но его сочиненіе, взятое въ цѣломъ, также какъ и другія его разсужденія объ искусствѣ, ни мало не согласуются съ приведенными мною словами. Вездѣ онъ смотритъ на искусство не какъ на стремленіе къ ясному царству чистой мысли, а, напротивъ, какъ на выраженіе страстей и желаній каждой эпохи, имѣющее свой смыслъ въ этихъ самыхъ страстяхъ и желаніяхъ.

Въ галлереъ Уффици этотъ взглядъ оказался неприложимымъ, или лучше, долженъ былъ под-

^{*)} Voyage en Italie, 2-me éd. Paris, 1874. T. II, p. 158-159.

чиниться другому, высшему взгляду. Въ самомъ дѣлѣ, отъ самаго входа тутъ начинаются иконы, чудесныя иконы съ золотымъ фономъ, которыя еще вполнѣ напоминаютъ нашу византійскую живопись, но составляютъ какъ бы полный ея расцвѣтъ. Потомъ вы найдете идоловъ языческихъ храмовъ; потомъ картины и статуи, которыхъ настоящее мѣсто въ комнатахъ красавицы легкаго поведенія, потомъ надгробныя плиты и изваянія, и такъ далѣе. Все это вырвано съ своего настоящаго мѣста, перемѣшано и поставлено передъ вами; иконы здѣсь—не иконы, а просто картины; идоль—не идолы, а просто статуи; и соблазнительныя изображенія также, какъ и всѣ другія, должны быть разсматриваемы только съ точки зрѣнія художества

Какое же чувство должно въ васъ пробудиться, когда передъ вами развернется рядъ такихъ предметовъ? Вы не станете молиться передъ иконами, не станете поклоняться идоламъ, не будете сластолюбиво всматриваться въ непристойности. Вы должны почувствовать, что все прямое содержаніе этого необозримаго множества созданій исскуства для васъ не имъетъ и не должно имъть значенія, что васъ не могутъ и не должны трогать ни всъ изображенныя тутъ вожедельнія и неистовства, ни память славы и величія, ни любовь и ненависть, словомъ, никакое жизненное отношеніе, могущее

принадлежать художественнымъ произведеніямъ. Самая древняя статуя, изображающая неизвѣстное божество, о которомъ погибла всякая память, и только-что написанная картина, изображающая вчерашнее событіе, попавши въ эту галлерею, становятся на одну доску, дѣлаются предметами одинаково отвлеченными, имѣютъ смыслъ только предметовъ искусства.

Понятно поэтому, что мы чувствуемъ себя здёсь отръшенными отъ времени и мъста, отръшенными отъ дъйствительной жизни. И, если созерцание произведеній искуства, не смотря на то, наполняетъ насъ свътлымъ чувствомъ, если есть какая-то радость въ этомъ созерцаніи, то она не представляетъ ничего общаго съ нашими страстями и желаніями, не заключаеть въ себъ никакого практическаго содержанія. Яркій, рознообразный міръ художественныхъ созданій есть не только міръ идеальный, но даже имъетъ въ себъ нъчто какъ бы отвергающее действительность, враждебное къ ней, такъ что Тэнъ, ходя по галлерев Уффици, справедливо могъ произнести свое парадоксальное восклицаніе: какъ хорошо несуществовать! какъ естественно несуществовать!

29 ноября 1875.

Два письма изъ Рима.

(къ А. Н. Майкову).

I.

Римъ, Via felice. 10 мая (28 anp). 1875.

Вы радуетесь, что я въ Италіи; я самъ до-сихъ поръ считаю это какимъ-то необыкновеннымъ происшествіемъ въ моей жизни. Между темъ, я давно долженъ быль бы убъдиться, что это дъло самое простое, ординарное, будничное. Образованные люди считають долгомь осмотръть Италію точно также, какъ, напримъръ, выучиться пофранцузски, имъть понятіе о Шекспиръ и Гёте, послушать Патти, и т. п. Каждый день я вижу, какъ это дёлается; особенно въ Римё дёло это иметъ такіе громадные размёры, что передъ моими глазами сперва какъ будто носилось огромное пятно, которое закрывало собою Римъ. Повздъ нашъ былъ маленькій: я прівхаль сюда изъ Неаполя, да и сезонъ Рима уже быль при концѣ; но мы нашли на станцій такой длиннъйшій рядь омнибусовь, какого я еще нигдѣ не видалъ. Меня привезли въ огромный отель (Hôtel de Russie), который занимаетъ мѣсто, достойное дворца, прилегая къ Мопte Pincio и къ Piazza del popolo. Потомъ я увидѣлъ, что вся половина города къ востоку отъ Согво усѣяна этими отелями, что ихъ въ Римѣ почти столько же, какъ раlаzzo, и скоро будетъ больше. Они щеголяютъ одинъ передъ другимъ роскошью и слегка поддѣлываются подъ видъ дворцовъ.

На другой день, послѣ кофе, мы сѣли въ фаэтоны и побхали смотреть, кажется, Ватиканъ. Говорю въ фаэтоны, потому что такъ называется этотъ самый экипажъ (полуколяска или полудрожки) въ Кіевѣ, Полтавѣ, Харьковѣ. Въ продолженіи дня вы встрътите эти фаэтоны на всъхъ улицахъ, но не думайте, что это ъздятъ жители города; римляне ходять и шкомъ, а вздять все иностранцы, все обозрѣватели. Въ каждомъ фаэтонѣ вы непремѣнно увидите книжку, большею частію красную книжку Бэдекера. И затъмъ всюду, въ Ватиканъ, въ Капитолів, въ св. Петрв, въ баняхъ Каракаллы, —вездѣ вы найдете снующихъ людей, которые заглядывають въ книжки и осматривають. Нѣкоорые поступають еще удобнье: они ходять съ живымъ гидомъ, который все имъ показываетъ.

Вы видите, какой я неопытный: я вамъ разска-

зываю то, что всёмъ извёстно, что вы давно знали. Но сообразите, во что же обратилось теперь путешествіе. Въ точномъ смыслѣ слова, вы не ѣдете, а васъ везутъ, и вы не ходите осматривать, а васъ водять. Этоть усовершенствованный, облегченный и упрощенный способъ не разъ наводиль на меня тоску. Вы садитесь въ Петербургъ въ вагонъ, и черезъ четыре дня вы въ Венеціи-безъ всякихъ приключеній, ничего не видавши, кром' станцій и дебаркадеровъ, ни съ къмъ не познакомнишись, кромѣ служащихъ при желѣзныхъ дорогахъ. Затъмъ, въ нъсколъко дней вы осматриваете всъ достопримъчательности города-по двъ минуты на каждую-и можете убхать, и убзжаете, не взглянувши въ лицо ни одному жителю города, не узнавши ни одной черты его жизни, а узнавши только порядки вашего отеля, да претензіи и замашки его содержателя и прислуги. Я видель, какъ иные люди входили въ тъ зданія, что-войдешь, и остановишься въ изумленіи, и чувствуется, какъ будто эти своды, колонны, карнизы что-то поють, звучатъ какимъ-то торжественнымъ и непрерывнымъ гимномъ; я видълъ, что иной войдетъ и прямо уткнется въ книжку, отыскивая, что же ему слёдуеть осматривать и чему именно удивляться. Толна, которая, безпрестанно подновляясь, бродитъ но этимъ музеямъ и развалинамъ, очевидно, равнодушна и даже скучаетъ; она точно проходитъ урокъ изъ ариеметики или географіи. Какая печальная участь—оставаться холоднымъ передъ дивами искусства и природы, смотрѣть во всѣ глаза на сіяющую красоту и ничего не видѣть! Но толпа не чувствуетъ своей бѣды и спокойно проходитъ мимо всего великаго.

Такъ опошлилось это дело, - какъ, впрочемъ, опошливается и все на свётё. Италія сдёлалась теперь общедоступною, Римъ вошелъ во всеобщее употребленіе, какъ иныя популярныя книги, излагающія вкратцѣ сущность наукъ. Но не думаю, чтобы истинное понимание научнаго духа и художественной красоты отъ этого выиграло. Теперь рѣшительно нужно принимать особыя мъры для того, чтобы молодой человъкъ могъ воспринять какую нибудь истину науки или произведение искусства въ ихъ настоящемъ свете, съ свежимъ чувствомъ и вниманіемъ, чтобы онъ не познакомился съ ними заранъе въ искаженномъ, умаленномъ, опошленномъ видъ. Теперь нужно избътать обилія книгъ и предметовъ, нужно умышленно замедлять смѣну впечатлѣній, не давать имъ скользить по душъ. Какая жалость испортить первое впечатлъніе, которое потомъ такъ трудно изглаживается! Берегитись же скорости жельзныхъ дорогъ и ясности популярныхъ книжекъ!

Въ Варшавъ я столкнулся съ двумя молодыми людьми, здоровыми, красивыми, бойкими, которые ѣхали изъ Москвы. Они объявили мнѣ, что въ шесть недѣль думаютъ осмотрѣть всю Европу. Въ Венеціи я усѣлся на солнцѣ, на илощади св. Марка, — вижу, идутъ мои путешественники. "Ну, что?" спросилъ я, и видя, что они чуть-чуть замялись, самъ подсказалъ: "ничего хорошаго?"— "Да", радостно отвѣтили мнѣ, "рѣшительно ничего хорошаго: узкіе закоулки, облупившіеся дома, вездѣ грязь, вонь, — по улицамъ развѣшано бѣлье, мужчины въ самыхъ людныхъ мѣстахъ преспокойно уткнутся себѣ въ уголъ... Что тутъ хорошаго? Сегодня ѣдемъ въ Римъ!"

И вотъ вамъ очарованіе Венеціи, впечатлѣніе самаго фантастическаго, самаго сказочнаго города въ мірѣ! Они, очевидно, ждали чего нибудь щеголеватаго, наряднаго, лощенаго, какъ богатый магазинъ на Кузнецкомъ мосту; Венеція, конечно, больше всякаго другаго города могла бы нхъ убѣдить, что красота не въ этомъ состоитъ, но вѣдъ всякій видитъ только то, что умѣетъ видѣтъ. Въ Неаполѣ я опять ихъ встрѣтилъ; они объявили мнѣ, что уже были два дня въ Римѣ, что все осмотрѣли и—ничего хорошаго! Я подумалъ, что желѣзныя дороги, какъ иныя популярныя книги, рѣшительно служатъ къ укрѣпленію невѣжества и къ распространенію предразсудковъ.

Италія, вообще, не им'ветъ никакого лоска, никакой щеголеватости, во-первыхъ по принципу, вовторыхъ по бѣдности. Въ безподобныхъ palazzo, осматривая безподобныя картины и статуи, вы ходите по истертымъ кирпичнымъ поламъ, садитесь на затертыя и полинявшія кресла. Въ Рим'в дома и улицы имъють самый простой, и даже грязный видъ; нигдъ невидно желанія принарядить, выровнять и вылощить. Зато на концъ улицы вамъ поставленъ обелискъ, который удивительно играетъ на чистомъ небъ и даетъ улицъ не то что красивый, а грандіозный, монументальный видъ. Я не берусь описывать вамъ этихъ впечатленій, Всего труднее говорить именно объ архитектурныхъ красотахъ, о дъйствін на душу, производимомъ размърами и формами зданій. Ну какъ разсказать каналы Венецін, или площадь св. Марка? Я уловляю отчетливо только одну черту — чудесный цвътъ морской воды, наполняющей узкіе проходы между высокими домами. Если бы это была пръсная вода, если бы она не свътилась аквамариномъ, не имъла удивительной прозрачности и вижстж вполнж опредёленнаго цвёта, этп каналы были бы отвратительны, какъ Мойка или Екатериновка. А о площади я такъ и не скажу ничего. Она играетъ, поеть; въ ней есть что-то радостное и фантастическое, какъ будто вся она большой арабескъ. Тоесть, эти линіи выведены безъ цѣли, безъ соотвѣтствія дѣйствительности, не для выраженія чего нибудь, а такъ, ради ихъ собственной красоты.

Іва дня мы бадили по Венеціи, осматривая дворды и церкви. Уже на первый взглядъ она имфетъ видъ не только стариннаго, а стараго, очень стараго города, такого, который давно стоить не подновляясь, безъ поправокъ и новыхъ зданій. Всъ стѣны потускнъли и выцвѣли, ступени истерлись, мозанчные полы покривились. Внутри перквей и заль все разубрано и переполнено произведеніями искусства; цълая стъна вдругъ занята одною картиною масляныхъ красокъ, а потолокъ весь состоить изъ группы пышныхъ золотыхъ рамъ, какъ будто скръиленныхъ перевязями и занятыхъ такими же картинами; нътъ конца гробницамъ и статуямъ. И все это старое, все это остатки минувшей жизни, которой нать продолженія, которая прервалась навсегда. Но скоро я замѣтилъ еще другое: я почувствоваль странную пустоту въ этомъ старомъ городѣ. Сравнительно съ этой массой огромныхъ домовъ, на каналахъ почти нътъ движенія, многія дома пусты и закрыты на-глухо, другіе уже разваливаются. А везді, гді признаки жизни, тамъ навърно и лохмотья, безъ всякой церемоніи выв'єтенныя на солице. Вымирающій го-

родъ! Для меня это было ново и наводило тоску. Туть было когда-то 200 тысячь жителей, богатыхъ, роскошныхъ; они построили эти церкви и дома. Теперь ихъ 125 тысячь, большею частію білныхъ, а изъ нихъ 30 тысячъ даже нищихъ: немудрено, что они заняли вчетверо меньше мъста и что Венеція похожа на вымирающій улей съ пустыми сотами. Чувство исчезнувшей жизни, чувство смерти охватило меня въ Венеціи и провожаетъ до сихъ поръ. Римъ, конечно, не вымирающій городъ; онъ даже понемножку подновляется и строится. Но впечатлѣніе еще печальнѣе; этотъ не большой и не пышный городъ выстроился на развалинахъ города баснословнаго, неслыханнаго по своей роскоши и богатству. Нын вшній Римъ заняль собою только уголокь этихъ развалинъ, которыя подавляють его своими размърами; онъ сперва грабилъ эти развалины, а потомъ, опомнившись, сталъ выбирать изъ нихъ кусочки, колонны, обелиски. статуи, и ставить на своихъ улицахъ и площадяхъ, какъ лучшее ихъ украшеніе. Папы, смогшіе построить храмъ св. Петра, считають потомъ своею честью одно сохраненіе остатковъ древняго Рима и хвалятся этимъ въ надписяхъ, которыя вы найдете подъ каждою колонною и у всякаго не до конца разрушеннаго остатка. Въ одинъ день я видъль базилику Константина, колизей и бани

Каракаллы. Съ тъхъ поръ нынѣшній Римъ мнѣ кажется мелкимъ, не смотря на свою несомнѣнную грандіозность. То, что я узналъ о нынѣшней жизни Рима, о его населеніи и занятіяхъ, не только не ослабило этого чувства, а только усилило.

Но объ этомъ когда-нибудь послѣ. Римъ, какъ вы знаете, безконечно занимателенъ. Погода стоитъ чудесная, даже жаркая. Я цѣлый день брожу; завтракаю въ Саfè greco, какъ Тэнъ, и хотѣлъ бы обѣдать у Leprè, какъ онъ же. Но представьте же мое несчастіе—мѣсяцъ тому назадъ Leprè закрылся: говорятъ обанкрутился. Такъ я и не нашелъ вашего Luigi.

До слѣдующаго письма!

II.

Римъ, 18 (6) мая 1875 г.

Знаете ли, миф трудно вырваться изъ Рима, и я откладываю свой отъфздъ день за днемъ. Очарованіе, о которомъ столько писано и которое въ первые дни, подъ дождемъ и въ хлопотахъ, я только смутно чувствовалъ, наконецъ, возъимъло полное дъйствіе. Отели ужь больше не бросаются миф въ глаза, по немногу все заняло свое надлежащее мъсто, и Римъ сталъ для меня собраніемъ несравненныхъ развалинъ, удивительныхъ

перквей и палаццо, галлерей, наполненныхъ статуями и картинами, и наконецъ кругомъ-виллъ съ чудесною зеленью, съ итальянскими видами, которыхъ прелести я не поминалъ, когда видълъ ихъ на картинахъ. Все это — подъ безоблачнымъ небомъ и подъ яркимъ солнцемъ, дающимъ всему такія яркія краски, что я все любуюсь, любуюсь каждый разъ, когда выхожу на улицу. Я разглядёль, наконець, и народь, - въ немъ два существенныхъ отдела: одинъ-масса бедняковъ лѣниво и кое-какъ ведущихъ свои промыслы; другой-небольшой кружокъ аристократовъ, влапѣльпевъ виллъ и палаппо. Что они дѣлаютъ, не знаю, но гуляють они усердно; вездѣ, гдѣ хорошо гулять, вы ихъ найдете разряженныхъ. въ вереницъ блестящихъ экипажей.

Говоря совершенно хладнокровно,—Римъ, конечно, самый занимательный городъ въ мірѣ.
Если вы хотите, не то что понять, а видъть,
что такое исторія, какой судьбѣ подлежитъ развитіе человѣчества, что такое искусство и какой судьбѣ подлежитъ его исторія, — то ступайте
въ Римъ; этотъ городъ какъ будто раскрытая
книга, въ которой все это написано. Исторія,
какъ извѣстно, раздѣляется на древнюю, среднюю и новую; здѣсь всѣ три на лицо; ни одна
не успѣла закрыть собою предъидущую, и вы

можете сравнивать ихъ наглядно. Самый этотъ фактъ поразителенъ въ высшей степени; вы видите ясно, что эти три исторіи не сливаются, не выростають одна изъ другой, не составляють взаимнаго продолженія. Три раза Италія достигала въ мір'й значенія, доходящаго до крайнихъ предёловъ величія: эта страна породила Римскую Имперію, потомъ она же породила котоличество, и наконецъ, она же есть мать возрожденія наукъ и искусствъ, того новаго духа умственной жизни, который обновилъ міръ.

И что же изъ всего этого вышло? Чего достигла эта страна, заправлявшая исторією міра? Придите и посмотрите. Я не хочу пускаться въ историческія соображенія, философствовать о судьбъ народовъ; мнъ хочется только передать вамъ то чувство, которое возбуждаеть во мнѣ Римъ, то жадное любонытство, съ которымъ я на него смотрель. Кто давно живеть въ Риме, те обыкновенно имъ не занимаются, - не исключая и художниковъ. Здёсь живуть тысячи художниковъ всехъ странъ; но мне говорили, и я верю, что Римъ составляетъ для нихъ только удобное мѣсто для производства работъ, для полученія заказовъ и продажи своихъ произведеній, но вовсе не школу великихъ образцовъ, не пищу для художественнаго чувства. Школою и пищею Римъ быль во время исевдоклассицизма; теперь-же искусство... Тутъ не смъю продолжать; какъ я ни старался, я не могъ уловить ничего опредъленнаго въ томъ, что мнт говорили о современномъ направленіи искусства. Не смѣю говорить объ этомъ; только мнѣ все кажется, что никогда еще духовная дънтельность людей не достигала такой разрозненности, отрывочности, какъ въ наше время, время телеграфовъ, желізныхъ дорогъ и неумолкающей работы типографскихъ станковъ. Въ сущности, именно тенерь господствуетъ наука для науки, искусство для искусства, - то самое, что, повидимому, такъ преслъдуется и изгоняется. Нынфшняя книга, картина, статуя — есть нѣчто, существующее совершенио отдъльно, ин къ чему не примыкающее, ни съ чѣмъ не связанное. Нътъ такой сферы идей, такого опредъленнаго склада жизни, которымъ бы служиль, которые бы могь развивать ученый и художникъ; по неволъ каждый дълаетъ такъ, чтобы его произведение въ себъ самомъ заключало весь свой смыслъ. Живописецъ не назначаетъ своей картины для извъстной ствны; музыкантъ пишетъ музыку не для храма и не для бальной залы, а для какого угодно мѣста, для нъкоторой залы вообще, т. е. концертной; ученый пишеть книгу, не думая о свояхъ читателяхъ, а заботясь только объ истинъ, которую, по его мнѣнію, онъ добывать можетъ и одинъ. Такимъ образомъ, всѣ ндутъ врозь, каждый сосредоточивается на своемъ особомъ дѣлѣ, не примыкая ни къ какому общему дѣлу. Ученый живетъ для своей науки, художникъ — для своего искусства; отсюда энергическія усилія и пробы; но отсюда же какая-то тоска, какая-то потерянность, которую чувствуютъ глядящіе повыше.

Я, впрочемъ, увлекся: я хотълъ только сказатв что къ Риму можно привыкнуть, какъ и ко всему на свътъ, и тогда прійдется только бранить его грязь, неудобство квартиръ и т. д. Сравнительно, хоть бы съ нашимъ пышнымъ Петербургомъ, все здѣсь жалко и мизерно. Но отъ подобныхъ сопоставленій меня избавляеть то чувство благоговинія ко Западу, которое иногда шевелится во мив съ веобыкновенною силою. Я только второй разъ за границей, и на короткій срокъ, какъ и въ перв..й. И теперь, какъ и тогда, каждый разъ, когда вступаю на священную почву какой нибудь изъ великихъ странъ, въ Эйдкуненъ, въ Марсели, въ Венеціи, я чувствоваль себя варваромъ, пришедшимъ поклоняться святынямъ, которыя съ дътства обожалъ. Это иногда — досадное чувство, говорю прямо; невольно чувствуещь не одну радость, но и страхъ, чувствуещь тоть подавляющій автори-

теть этихъ странъ, въ силу котораго они господствують надъ нами, держать насъ въ умственномъ плену. И готовъ возмутиться, дерзко поднять глаза и развязно потребовать доказательствъ на права этой власти, обратиться изъ школьника въ судью. Но это дурное движеніе, вспышка возмущенія и злорадства, скоро проходить. Неужели намъ, русскимъ, нельзя смотрфть на эти чудеса совершенно спокойно, отдавая имъ отъ чистаго сердца всю честь, которой они заслуживають, любуясь и восторгаясь ими безъ всякой посторонней мысли, съ чувствомъ одного благоговънія передъ всты великимъ? Зависть есть черта малодушія, и кажется можно такъ вфрить въ Россію, чтобы ни предъ чѣмъ не малодушествовать. То нетерпѣніе, то недовольство и раздраженіе, которое такъ часто у насъ господствуетъ, есть явленіе поерхностное, не имѣющее глубокаго смысла. Когда здёсь, въ Римѣ, вспомнишь о Россіи, кажется, какъ будто она вовсе не имветъ исторіи; все ел прошедшее представляется однообразною полосою простаго роста. Великія бъдствія, которыя она вынесла, созданіе крѣпкаго государства, все это не исторія, все это только явленія самосохраненія; а исторіи какъ будто еще пе было. Но что же тутъ печальнаго? Вотъ передо мною римляне, у которыхъ была не одна, а даже три исторіи; кто

же изъ насъ пожелаль бы съ ними помѣняться? Иные горько жалуются, что цивилизація у насъ не принимается. Въ самомъ дѣлѣ, вотъ скоро два стольтія, какъ она привита къ намъ, а до сихъ поръ ея дёло идеть плохо, и недавно сдёлана новая ръшительная попытка поправить это дълозаведены классическія гимназіи. Эти неудачи имъють, по моему, смыслъ нисколько не печальный. Мы усвояемъ изъ цивилизаціи все внішнее, все то, что не касается самаго духа, самой глубины развитія, а только даеть ему просторъ или охраняетъ. Говорятъ, наша артиллерія очень не дурна; жел взныя дороги тоже порядочныя и ихъ уже много; юридическія формы нащего быта въ настоящую минуту довольно широки и свободны, несмотря на нъкоторую путаницу; Петербургъ и Москва у насъ и красивъе, и во многомъ щеголеватье, барственные Берлина и Выны. Но духъ,да, мы не усвоили духа. Петербургъ, правда, кричить и пропов'єдуеть, но в'єчно ему приходится, и придется до конца, жаловаться на неуспъхъ своей проповеди. На безбрежных равнинахъ, гдъ все глушь и тишина, растеть, плодится и множится безчисленный народъ, который не знаетъ Петербурга и едва умфеть назвать по имени своего Царя. Вотъ мчится потздъ желтвной дороги, который везеть какихъ нибудь удивительно передовыхъ адвокатовъ, педагоговъ, можетъ быть даже составителей прокламацій, и тюки съ книжками петербургскихъ журналовъ. Но отойдите двъ версты въ сторону, и вы попадете въ полнфишее захолустье, въ невозмутимую тишину жизни. При мысли объ этомъ, нетерпъливые люди начинаютъ злобствовать и ругаться. Но за что же, скажите пожалуйста? Пусть ихъ спять, пусть растуть, пусть плодятся и множатся. Можетъ быть они дождутся нёсколько лучшихъ педагоговъ и лучшихъ журналовъ, чёмъ тё, которые ёдутъ по жельзной дорогь. Если же случится великая опасность, то они отстоять себя, какъ отстаивали столько разъ. Мы не знаемъ, для чего они такъ берегуть себя; для васъ непонятно то таинственное будущее, изъ-за котораго они такъ мало дорожать своими головами; но вёдь это ужь наша печаль, а не ихъ.

Вчера мы смотръли колизей при лунномъ свътъ. Это удивительно, это неотразимо! Когда глядишь съ самой верхней площадки, то кажется; передъ тобою не разрушенный циркъ, а какой-то цълый разрушенный городъ. При слабомъ свътъ глазъ дъйствуетъ не такъ энергически, и потому не скрадываетъ величины предметовъ, какъ онъ это дълаетъ при солнцъ. Оттого же ночью легче представить себъ, какъ тутъ кишъла стотысячвая

толпа, праздная, радостная, разряженная. Одинъ изъ моихъ спутниковъ сказалъ, что онъ очень бы желалъ пожить этой жизнью; другой назвалъ такое желаніе безнравственнымъ. Такъ то такъ, но въдь туть сказалась законная зависть. Современный человъкъ такъ бъденъ, такъ потерянъ, что завидуетъ всякой эпохъ, богатой жизнью, представляющей огромныя массы народа, участвующія въ общемъ для нихъ дѣлъ и въ общемъ наслажденіи. Ныпъшнимъ городамъ нельзя и думать поравняться съ древнимъ Римомъ; тогда весь городъ, всъ его статуи, цирки, колонны, портики были истинной собственностію всъхъ и для всъхъ строились; а нынче для каждаго его комната дороже самой роскошной площади.

Сегодня простился съ Ватиканомъ и, провзжая мимо Пантеона, глубоко вздохнулъ. Не видать ужъ мнѣ этого свода! Я вамъ не разсказываю объ этихъ чудесахъ, да и какъ разсказывать? Для этого нужно бы летучее перо, которое въ недѣлю способно было бы набросать полкниги, и я иногда завидовалъ такимъ перьямъ. Правда, что все проходитъ, но вѣдь не все повторяется.



Крымскія впечатлѣнія.

I.

Недолго я твоихъ небесъ Блистаньемъ синимъ любовался.

Вы непремѣнно хотите, чтобъ я разсказалъ вамъ свои крымскія впечатлѣнія. Позвольте ужъ въ такомъ случаѣ не стѣсняться и начать съ конца. Я вернулся изъ Крыма 31 октября, и знаете ли, что меня всего сильнѣе поразило въ Петербургѣ, что наводило на меня каждый день тоску, и къ чему я не привыкъ вполнѣ и до сихъ поръ? На меня самое жуткое впечатлѣніе сдѣлала та темнота, тѣ непрерывные потемки, въ которые я попаль и которые — увы! — не проходятъ до сихъ поръ.

Какъ мало свъта! Какое скупое, тощее, тусклое освъщение всъхъ предметовъ! Это не день, а сумерки—дня въ Петербургъ теперь не бываетъ и долго еще не будетъ. Но объ этомъ никто здъсь и не догадывается, и люди живутъ и двигаются, не замѣчая, что они лишены величайшаго наслажденія—дневнаго свѣта.

Вотъ я въ полдень выхожу изъ дому и иду мимо Царицына луга. Какой-то шумъ и крики—это кавалерійскій смотръ. Какіе удивительные кони! И сколько ихъ! Какъ выхолены, какъ лоснится шерсть на нихъ! А что за молодцы на нихъ сидятъ, на подборъ, одинъ лучше другаго! Мѣдные нагрудники чисты какъ стекло, вся эта масса людей плошадей доведена до невѣроятнаго однообразія, такъ чисто отдѣлана и отшлифована, смыкается въ такія правильныя массы, движется такъ стройно!

И что же? Все это великольніе подернуто туманомъ; я не могу хорошенько разглядьть дальнихъ рядовъ. Блестящій золотомъ генералъ виденъ мнъ какъ тусклая фигура, и голоса команды глухо обрываются въ сыромъ воздухъ. Съ тоской отворачиваюсь и иду дальше.

Кажется, солнце? Какъ я обрадовался! Да, да, вонъ видны ярко освъщенные края высокихъ облаковъ; нижнія облака проносятся, видна часть неба, а вотъ часть Михайловскаго замка освътилась лучами солнца. Боже мой, какое разочарованіе! Свъту всетаки нътъ. Въ полдень здъсь солнце свътитъ такъ, какъ оно тамъ свътитъ при самомъ заходъ, когда край его уже опустился за горы и день скоро погаснетъ. Эти сумерки въ полдень

были невыразимо непріятны, — и я нисколько не жалью, что солнце опять скрылось.

Илу на Невскій. Какіе воротники, бакенбарды! Нагло и самодовольно блистаютъ глаза; съ великой гордостію несуть на себѣ гуляющіе свои безуко ризненныя шляпы и щегольскія нальто. Посмотрите на катающихся: экипажи блестять, какъ будто вы вхали на Невскій прямо изъ сарая каретнаго мастера; развалившіеся дамы и кавалеры разодёты такъ, какъ будто съ нихъ тотчасъ стануть снимать модныя картинки; кучера имфють совершенно непонятную толщину и бородатость, и каждый править чудесными конями съ такимъ же величіемъ, какъ будто онъ Зевесъ, управляющій міромъ; словомъ, все такъ неестественно, поднято на такія ходули, доведено до такой фантастичности лоска и красокъ, что все виъстъ могло бы представить картину очень занимательную, очень пеструю и блестящую.

Но что же они дѣлають, несчастные? Всѣ они думають только о томь, чтобы блистать; какъ же они не замѣчають, что блистать въ этомъ сумракѣ рѣшительно невозможно? Они явились сюда, чтобы себя показать и другихъ посмотрѣть; какъ же не береть ихъ досада на то, что въ двадцати шагахъ уже ничего разсмотрѣть нельзя, что Невскій подобень въ настоящую минуту рѣкѣ сѣро-

желтаго, грязнаго тумана, по дну которой они изволять ходить и вздить, прибавляя къ этому туману паръ своего дыханія и потъ своихъ лошадей? Какая грязь на землё и въ воздухе! Какъ тускло сіяеть весь этотъ лакъ, шолкъ, золото и шерсть! Въ пяти шагахъ вамъ нужно уже догадываться, что передъ вами нёчто блистательное.

О, тутъ я понялъ, что сооственно нравится этимъ господамъ и госпожамъ, какія извращенныя чувства наполняють сердца ихъ заботами и волненіями. Они не о блескѣ хлопочутъ, т. е. не о настоящемъ блескъ-не о томъ, который созданъ Богомъ и источникъ котораго есть солнце; они жаждуть искусственнаго сіянія - того блеска, который создается людьми и находится въ ихъ распоряженіи. Требуется не удовлетвореніе для глазъ, для настоящихъ глазъ, дающихъ намъ радость свъта и зрънія, а нужно поражать и насыщать внутреннее око ихъ душъ, т. е. тщеславіе, которымъ они все измѣряютъ и на основаніи котораго они судять о величинъ и красотъ предметовъ. Петербургъ, вообще, есть городъ субъективный, фантастическій, гдв настоящая жизнь, настоящая природа не имфетъ никакого значенія, - гдф люди все создають изъ себя, живуть своими внутренними ощущеніями и мыслями, и не хотять знать действительности.

Не мудрено: свъту мало!

Ночь въ Петербургъ лучте. По крайней мъръ не видишь, что темно, - т. е. я хотъль сказать, ночью уже не смотришь и ничего не ищешь глазами, поэтому не замъчаешь отсутствія звъздъ, луны, того очарованія, которое имфеть въ южной ночи всякій лучь свёта, какь бы онь слабь ни быль. По крайней мфрф темнота въ Петербургф настоящая, т. е. черная. Но вотъ прівхала Царицаи зажгли иллюминацію. Да, это не дурно! Въ первый разъ тоскующіе глаза мон испытали ифкоторое наслажденіе, доставляемое світомъ. Горящій газъ даетъ очень красивый свѣтъ; особенно хороши его полосы по линіямъ оконъ и арокъ. Идя мимо Штанге и Кумберга, уставившихъ свои громадныя окна сплошь зажженными лампами, я живо почувствоваль, что значить для петербуржцевь яркое и красивое вечернее освъщение. Петербургъ живетъ собственно зпмою и ночью. Тутъ-то онъ развертываеть свой настоящій блескъ, туть нолучаетъ настоящее свое значение все то, что не им ветъ смысла при дневномъ свътъ и что въ немъ не нуждается. Комнаты сухи, теплы, богато убраны и ярко освъщены; вотъ настоящій часъ и мъсто жизни петербурждевъ. Что имъ за дъло до солнда и природы? Весь міръ для нихъ не существуєтьи всв эти степи, рвки, моря совершенно естестьенно кажутся имъ излишнимъ украшеніемъ міра, безъ котораго они могутъ прожить самымъ благополучнымъ образомъ. Тутъ развиваются иныя страсти и наполняють душу другія желанія...

Не бойтесь однако же! Я не буду увлекаться этими широкими темами, и оставляю про себя дальнѣйшія правоученія и соображенія, которыя приходять мнѣ теперь на мысль. Вамъ я хотѣлъ сказать только одно: главнѣйшая прелесть южныхъ странъ заключается, по моему мнѣнію, именно въ обиліи свѣта и въ чистотѣ воздуха, въ силу которой тамъ можно видѣть ясно и далеко. Изъ поѣздки въ Крымъ я вынесъ то-же впечатлѣніе и въ сильнѣйшей степени.

Что такое прекрасный видъ? Форма и цвѣтъ—суть два существенныя качества видимыхъ вещей. О формѣ и порядкѣ вещей я не стану говорить; это предметъ сложный. Но что касается до цвѣта, то можно вообще сказать, что цвѣтъ какихъ-бы то ни было предметовъ всегда бываетъ прекрасный, когда мы видимъ ихъ издали. Давно замѣчено, что нашъ подлунный міръ раскрашенъ очень неъдурно: напримѣръ, небо голубое, трава и листъя зеленые. Я хочу прибавить къ этому, что, по свойству воздуха, всѣ предметы, видимые на очень далекомъ разстояніи, получаютъ цвѣтъ необыкновенно пріятный для глазъ. Какого-бы цвѣта ни

была гора (хотя-бы *табачнаго*, который Карлейлемь считается хуже всёхъ другихъ), цвётъ этотъ становится тёмъ мягче, тёмъ больше ласкаетъ глаза, чёмъ дальше мы отойдемъ отъ горы. При очень ясномъ освёщеніи и при чистомъ воздухѣ большія горы можно видёть очень издалека, и тогда онё являются въ окраскѣ невыразимо очаровательной. Цвётъ ихъ въ одно время и нёженъ и совершенно ясенъ, такъ что, наконецъ, они кажутся вамъ громадами нодкрашеннаго стекла, или кованнаго серебра. И въ этомъ, по моему, заключается одна изъ главныхъ прелестей большихъ горъ.

Что касается до луны и звёздь, то всё согласны, что они свётять очень красиво (и все, конечно, благодаря ихъ большому разстоянію); въ южныхъ странахъ свёть этотъ имбеть большую силу и большую ясность. Луна тамь дёйствительно золомая и звёзды тоже золомыя — выраженія очень неправильно употребляемыя иногда относительно петербургской луны и петербургскихъ звёздь. Здёсь въ Петербургъ луна и звёзды (когда онт вполнт видыы, то есть зимой, въ очень рёдкія ясныя ночи) имбють бёловатый, лазурный, ледяной оттёнокъ; звёзды здёсь не свётятъ золотомь, а мерцають льдомъ и всего скорте похожи на сверкающія снёжинки, которыхъ никто пе называетъ золотыми

И воть, я прожиль мѣсяць въ этой чудесной сторонѣ, гдѣ каждый взглядъ обнимаетъ далекіе предметы, гдѣ стоятъ горы, гдѣ движется море, гдѣ днемъ все залито яркимъ солнцемъ, а ночью по небу ходитъ золотая луна и золотыя звѣзды, гдѣ все такъ чисто, такъ ясно и отчетливо рисуется въ глазахъ, гдѣ видѣть и дышать—наслажденіе. Подъ конецъ я началъ привыкать ко всей этой прелести и, бродя по крутымъ тропинкамъ, начиналъ укорять себя въ разсѣянности; какъ это я забылъ, думалъ я, взглянуть на горы или на море въ этомъ уголку, куда я зашелъ въ первый разъ?

Я только что начиналь привыкать, какъ пришлось увхать. Вхалъ я десять дней, но дорогой, среди хлопотъ и думъ, я не испыталъ живаго чувства перемвны. Когда же я прівхалъ сюда, когда все улеглось, и потекли равномврно сумрачные дни и тусклыя ночи, безъ ясныхъ зорь, безъ яркаго солнца, безъ всякаго простора, по которому можно было-бы простирать взглядъ, безъ всякой краски, могущей потвшить глазъ,—тогда мив стало очень жутко.

II.

Знаете-ли вы, что такое "южный берегъ Крыма"? Если вы воображаете только, что это *берег*ъ, т. е. граница, на которой открывается море со всею его чудесною жизнью, и что этоть берегь находится на юго, на самомь южномь, слёдовательно на самомь свётломь и тепломъ краю Крыма,—то вы все-таки не имѣете никакого понятія объ этомь удивительномь мѣстѣ. "Южный берегъ" — мѣсто совершенно особенное; его очарованія зависять оть совершенно исключительныхъ условій, въ которыхъ тамь дѣйствують свѣть, воздухъ и вода.

Все дъло въ расположении горныхъ массъ. Представьте себъ, что на берегу, который идеть отъ востока къ западу, на самой линіи берега, граничащей съ моремъ, стоятъ непрерывнымъ хребтомъ горы вышиною въ три, въ четыре тысячи футовъ Къ сѣверу, т. е. къ сушѣ, эти горы имѣють склонъ очень покатый, дають постепено понижающіеся отроги. Но къ югу, т. е. къ морю, хребетъ обрывается почти вертикально, образуеть не склонъ, а стъну изъ сплошныхъ скалъ, до того близкихъ къ отвъсному положенію, что на нихъ не можетъ удержаться ни горсти земли, не можетъ застрянуть и прорости никакое сфия, и потому нфтъ никакой растительности. Голыя отвёсныя скалы въ нѣсколько тысячъ футовъ! Если бы вы знали какъ это красиво! Какая легкость, какой полеть къ верху въ этихъ каменныхъ массахъ!

Если бы эта стѣна скалъ была открыта до самаго подножія и опускалась бы своимъ подножіемъ въ море, то и видѣть ее можно было-бы развѣ только съ корабля; тогда на Южный Берегъ было бы невозможно выйти—и собственно не было бы того, что мы называетъ тенерь "Южнымъ Берегомъ". Вѣроятно, такъ и было когда-то, или покрайней мѣрѣ дѣло когда-то было ближе къ такому положенію, чѣмъ теперь.

Но представьте себъ, что стъна скалъ понемногу осыпалась и кое-гдф разрушилась. Острые края по мёстамъ оборвались, откололись громадные вертикальные пласты, съ грохотомъ упали къ подножію и разбились на части; вода, просачиваясь и размывая, раздробила ихъ еще больше и обратила наконецъ въ песокъ и глину. Такимъ образомъ, подножіе стѣны было закрыто ея обломками, образовалась насыпь, которая отдёлила собою ствну отъ моря. Насыпь эта представляетъ узкую полосу земли, круто спускающуюся къ морю, и на верху, у ствны, усвянную крупными оборвавшимися камнями, а чёмъ ближе къ морю, тёмъ болье мягкую, и наконецъ состоящую изъ совершенно мелкихъ частицъ. На этой узкой полосъ уже могли укрѣпиться растенія; она роскошно покрыта травами и деревьями, и она-то и есть "Южный Берегъ Крыма".

Теперь сообразите, въ какихъ благопріятныхъ условіяхъ находится эта полоса относительно свѣта

и тепла. Съ сѣвера она отрѣзана и защищена своею громадною ствною. Следовательно, ея температура зависить только отъ тъхъ влінній, которыя идуть съ юга. А съ юга у ней солнце и море. Если свътлый день, то для Южнаго Берега не пропадаеть ни одного луча солнца, которое весь свой путь проходить надъ открытымъ моремъ, — и все тепло, приносимое этими лучами, сохраняется подъ защитою каменной ограды. Но еще важное то, что воздухъ этой узкой полоски въ своей влажности и своемъ теплѣ вполнѣ зависить отъ моря. оть этой громадной массы воды, которая зимою грветъ, а летомъ холодитъ. Воздухъ туть больс морской, чёмъ на всякомъ другомъ морскомъ берегу. Такъ какъ море вообще сохраняетъ на значительныхъ разстояніяхъ одинаковую температуру, то безъ всякаго преувеличенія можно сказать, что это тотъ же воздухъ, какъ въ Константинополѣ, или въ Малой Азін, -- и даже еще лучшій, потому что холодные потоки воздуха, все-таки достигающие съверныхъ береговъ Малой Азіи, не всегда попадають на нашь "Южный Берегь"; переносясь черезъ стви его скаль, они должны пролетать надъ нимъ.

Вотъ какой это удивительный уголокъ; вотъ отчего зависитъ прелесть его климата и растительности. Между "Южнымъ Берегомъ" и осталь-

нымъ Крымомъ разница громадная,—можно даже точно опредѣлить: такая же какъ между Петербургомъ и Крымомъ. Если не ошибаюсь, цифри говорятъ слѣдующее: въ Петербургѣ средняя температура года 3½° по Реомюру; въ Симферополѣ, т. е. въ самомъ Крыму, въ двухъ-трехъ десяткахъ верстъ отъ Южнаго Берега 7°; на Южномъ Берегу 10½°. Слѣдовательно, если мы переѣдемъ изъ Петербурга въ Симферополь, перемѣна въ климатѣ будетъ точно такая же, какъ если переѣдемъ изъ Симферополя на Южный Берегъ.

И такъ, Южный Берегъ-это уголокъ другаго міра, полоска жаркаго климата, занесенная въ климать умфренный, -- оазись тепла и пышной растительности, окруженный природою гораздо менже роскошною, сравнительно — даже суровою. Была минута, когда и это не толькъ поняла и почувствоваль, а увидъль такъ же ясно, какъ на такой географической картъ, на которой климаты былибы обозначены разными красками. 21-го октября, я простился наконецъ съ моими чудесными хозяевами. Когда я поднялся до Байдарскихъ воротъ т. е. до того пролома въ стѣнѣ, черезъ который сообщается Южный Берегъ съ остальнымъ Крымомъ, - я велътъ ямщику остановиться и сощелъ съ телѣжки. Тутъ, со стѣны, на разстояніи нѣсколькихъ шаговъ открывались двѣ картины. Съ

одной стороны быль Южный Берегь, еще весь зеленый, покрытый деревьями, на которыхъ едва начали желтъть листья. Я зналь, что тамъ еще нвътуть розы, и только что распустились многіе осенніе цвъты. Съ другой стороны была Байдарская долина, одно изъ прекрасивишихъ мъстъ Крыма, еще недавно походившая на огромный садъ, разбитый въ живописной гористой мъстности. Теперь эта долина открывалась мит голая и печальная. Деревья стояли безъ листьевъ, и дулъ холодный съверный вътеръ. Пока я ъхалъ отъ Байдаръ до Балаклавы, наступила ночь, и я увидѣлъ "Большую Медвѣдицу", созвѣздіе, котораго за стѣною горъ не видалъ все время, проведенное мною на Южномъ Берегу. Даже п въ этомъ отношеніи можно было сказать, что надо мною уже были другія небеса.

Вслѣдствіе того устройства, которое я описаль, Южный Берегъ имѣетъ какой-то особенный, свѣтлый, праздничный характеръ. Тамъ все обращено къ югу, все смотритъ на югъ, все стремится къ югу. Деревья, какъ извѣстно, вездѣ даютъ на югъ больше листьевъ и вѣтвей; но на Южномъ Берегу нѣчто подобное происходитъ и съ домами и съ людьми. Всѣ фасады домовъ обращены на югъ. Небольшіе домики и хижины татаръ обыкновенно строются даже такъ, что сзади, т. е. на сѣверъ

у нихъ нѣтъ оконъ. Такъ какъ вся мѣстность представляетъ крутой скатъ къ морю, то задняя стѣна домовъ часто до верху врѣзывается въ землю, а если и подымается надъ землею, то въ ней всетаки не дѣлается оконъ; эти окна не давали бы ни свѣта, ни вида.

Какъ дома и деревья, такъ и люди здѣсь постоянно обращены лицомъ на югъ. На югѣ—далеко открывающійся видъ, просторъ, всегда притягивающій къ себѣ человѣческіе глаза; на югѣ вѣчно ходятъ корабли, вѣчная дѣятельность человѣка, невольно приковывающая вниманіе жителя пустыни; на югѣ—море, съ его бурунами и прозрачными волнами, въ которыхъ можно купаться; на югѣ — виноградники и смоковницы и цвѣты; чѣмъ ближе къ югу, тѣмъ меньше камней, тѣмъ мягче почва, тѣмъ укромнѣе, теплѣе, живописнѣе уголки, тѣмъ успѣшнѣе растутъ всякія благодатныя травы и деревья. И вотъ почему всѣ лица обращены на югъ.

А какой воздухъ! Въ немъ нѣтъ избытка ни влажности, ни сухости, и не слыхать смѣшенія токовъ разнаго свойства. Октябрь стоялъ чудесный. Днемъ термометръ показывалъ 15—16 градусовъ. Въ сумерки, пока еще можно было видѣть, я подходилъ къ термометру, повѣшенному на сучокъ книариса, и находилъ 13 градусовъ. И вотъ что

меня восхищало безъ мфры: въ какой бы часъ ночи я потомъ ни подходилъ къ термометру, при огиъ спички я всегда находиль все тъже 13 градусовъ. Такъ продолжалось весь мѣсяцъ, почти безъ исключенія! Эти теплыя темныя ночи представляли прелесть невообразимую. Ни тени сырости, ни единой холодной струйки въ воздухф! Броди по саду, сколько хочешь; трава также суха, какъ днемъ; садись, гдъ вздумается, прямо на землю. Всв лощинки проникнуты тепломъ, всюду такой же чистый, прозрачный, ласкающій воздухъ. Я не могъ вспомнить безъ отвращения о сырыхъ петербургскихъ ночахъ, сырыхъ даже въ самые ясные и длинные іюльскіе дни, о петербургскихъ зефирахъ, всегда подбитыхъ холодкомъ. На Южномъ Берегу мит было раздолье. Много часовъ и въ лунныя и въ безлунныя ночи я пробродилъ по огромному, старинному, заросшему саду Мшатки. Тишина, пустыня. Садъ спускается къ самому морю, которое одно шумить, не умолкая ни днемъ, ни ночью. Безмолвно стоять громады горъ. Изръдка звонко раздастся стрекотанье кузнечиковъ или залепечуть дистья.

Часу въ десятомъ (мы ложились обыкновенно въ десять часовъ) и взбирался, наконецъ, къ освѣ-щенному домику, гдѣ въ компатѣ съ настежъ отворенными окнами ждали меня ужинать. Однажды

когда я пытался выразить все удовольствіе, которое испытываю, мой милый хозяннъ замътилъ:

"Какъ вы подробно восхищаетесь"!

Это мнѣ очень понравилось; я дѣйствительно подробно восхищался Южнымъ Берегомъ — и нахожу, что онъ вполнѣ достоинъ такого восхищенія.

20 ноября 1869 г.

(Продолженія не было).

Ночь на Днѣпрѣ.

Картина Куинджи.

Позвольте сказать несколько словь о картине Куинджи. Моя замътка очень опоздала; но тъ, кто видёль Ночь на Диъпръ, конечно не могли ее забыть, а для тёхъ, кто не видалъ, можетъ быть интересны будуть некоторые общія разсужденія объ искусствъ. По моему мнънію, объ искусствъ слишкомъ мало разсуждають, слишкомъ мало пишутъ серіозно. Искусство занимаетъ въ нашей такъ называемой образованной жизпи огромное мъсто; оно есть постоянная, незаминимая принадлежность этой жизни, поглошающая значительную долю ея времени. Но, къ сожалънію, эта значительная роль принадлежить искусству не въ силу его настоящаго, серіозваго содержанія, а почти исключительно потому, что искусство не только есть дило, а вмёстё и забава и роскошь. Публика ищеть въ немъ провожденія времени, или пищи для своего тщеславія. Съ тѣхъ поръ, какъ упало обществен122 ночь

ное искусство, искусство для храма и города, художественныя произведенія должны искать себъ опоры во вкусахъ частныхъ лицъ. Они стали частнымъ дёломъ, свободнымъ отъ всякихъ опредёленныхъ цёлей и указаній. Искусство, поэтому, разлилось и расширилось въ массъ, въ толиъ, удовлетворяя ея требованіямъ, и получило, повидимому, и большій объемъ, и большее значение въ жизни, чемъ прежде. Но въ этомъ нельзя еще видъть существеннаго успъха для самаго искусства. Для него открылась такимъ образомъ возможность и опасность всякаго рода паденій и искаженій, покровительствуемыхъ вкусами публики. Музыка нынъ процвътаетъ потому, что она есть принадлежность всякаго увеселенія, даже самаго гадкаго. А если мы подумаемъ, что въ каждомъ домъ есть фортепіано и въ каждой семь в учатся музык в, а между тымь настоящее понимание и исполнение музыки есть величайшая редкость, то увидимъ, какъ много значитъ въ этомъ деле мода, тщеславіе и обезьянство. Точно такъ, живописны множатся и процветаютъ главнымъ образомъ потому, что множатся и накопляются богатства, а главной роскопню богатаго дома считаются картины. Изъ тщеславія, всѣ кто побогаче заводять себъ эту роскошь, истинная же любовь къ живописи есть очень ръдкое качество.

Конечно, и во всёхъ этихъ случаяхъ, и даже

во всвуъ своихъ искаженіяхъ и паденіяхъ, пскусство все еще сохраняеть нѣкоторое благотворное дъйствіе, зависящее отъ того высокаго принципа, который лежить въ его основаніи. Но діло шло бы гораздо лучше, если бы при этомъ масса публики обладала и какимъ нибудь сознательнымъ понятіемъ о сущности своихъ ежедневныхъ удовольствій и развлеченій, если бы она им'вла возможность вносить въ нихъ серіозную мысль. Картина Куинджи, имфвшан такой успфхъ и представляющая такое яркое и вмъстъ простое явленіе, невольно наводить, какъ намъ думается, на замѣчанія, касающіяся именно самыхъ первыхъ началь нскусства и наслажденія искусствомъ, и вотъ почему мы позволимъ себѣ высказать нѣкоторыя мысли объ этой картинв.

Ночь на Дивпры—высоко замѣчательное явленіе. Въ области ландшафта это самый крайній, самый пышный цвѣтокъ нашей реалистической школы, точно такъ, какъ подобнымъ цвѣткомъ реализма въ другой области живописи мы готовы считать Протодъякона г. Рѣпина. Нашъ реализмъ, столь сродный правдивой и простой русской натурѣ, встрѣчающій у насъ всегда горячее сочувствіе, процвѣтаетъ все больше и больше, и производить чудеса. Картина г. Куинджи истинное чудо. Подобнаго владѣнія красками, какъ въ этой кар-

124 ночь

тинъ, даже въ предъпдущихъ произведеніяхъ тогоже художника еще не было видано. И лунный, и солнечный свётъ у него является съ такою яркостію и чистотою, которыя оставляють далеко за собою картины прежнихъ мастеровъ. Онъ какъ будто пишетъ совершенно другими красками и, намъ кажется, долженъ произвести въ этомъ отношеніи рішительный перевороть въ живописи. До него не знали, что лунный свъть и ночное небо имфють зеленоватый оттрнокь, и не знали должно быть другихъ подобныхъ тайнъ, отгадка которыхъ дала ему эту удивительную яркость и естественность осв'ященія. Такъ въ Ночи на Дивпри небо на протяженіи между луною и горизонтомъ представляетъ оттънки, схваченные съ изумительною вѣрностію; не вѣришь глазамъ, что можно было написать такую неуловимую вещь. Невыразимо хорошъ также мракъ, обступающій съ боковъ свътлую группу луны, облаковъ и освъщенной ръки. И много другаго истинно восхитительнаго можно найти въ этой картинъ.

И однакоже, всѣ, кто видѣлъ картину, я думаю, чувствовали хоть маленькую тѣнь какого-то недовольства или недоумѣнія. Въ картинѣ есть чтото рѣзкое, что-то бросающееся въ глаза, неотвязно напрашивающееся на вниманіе и мѣшающее любоваться всѣми ея прелестями. Дѣло похоже на

то, какъ если бы вы любовались прекраснымъ портретомъ, но вамъ постоянно казалось бы, что волосы на немъ не нарисованы, а наклеены натуральные. Повидимому, чёмъ естественнёе, тёмъ лучше; но, однако, наклеенные волосы портили бы вамъ портретъ, а слъдовательно вамъ испортили бы его и нарисованные волосы, если бы вы не могли ихъ отличить отъ наклеенныхъ. Такъ Свъть луны слишкомъ натуралень, слишкомъ бросается въ глаза своею натуральностію и портить гармонію картины. Напримірь, передній планъ, чудесно написанный, по необходимости вышелъ гораздо темиве, чвмъ следуетъ при полномъ лунномъ освъщени, и нужно всматриваться, чтобы видёть, что весь онъ залить яркимъ луннымъ свътомъ. Вотъ какая бъда случилась съ художникомъ. Стараясь подделаться подъ природу своими слабыми средствами (красками и полотномъ), онъ долженъ былъ пожертвовать однимъ, чтобы върнъе было другое.

Но можно сказать еще больше. Какъ ни ярки луна, облака и освъщенная ръка, все таки и въ этомъ отношеніи, въ отношеніи освъщенія, картина, разумъется, не успъла вколнъ поддълаться подъ дъйствительность. Всъ, кто видълъ, съ перваго же разу замътили другое сходство, сходство такое разительное, что многіе не хотъли върить,

126

что передъ инми настоящая картина, писанная масляными красками. "Это писано на стеклѣ и освѣщено сзади!" Таково общее впечатлѣніе, и дѣйствительно, стоя передъ картиной, невозможно было ничѣмъ убѣдиться въ различіи. Обманъ совершенный!

И такъ, вотъ что сдълалъ художникъ. Его картина сходна до обмана не съ природою, а съ картиною, писанною на стеклѣ и освѣщенною сзади. Разница большая. Очевидно, впечатлъніе полотна, той плоскости, на которой писана картина, онъ не только не уничтожилъ, а напротивъ принужденъ былъ несколько усилить. Ему нужна была рёзкость контуровъ и яркость красокъ, мёшающая воздушной перспективъ. Какая жалость! Такія удивительныя старанія, такая безпримфрная чуткость къ свъту и цвъту потрачены на то, чтобы картину на полотит сделать какъ две капли воды похожею на картину писанную на стеклъ! Результать конечно безпримърный, истинное диво техники, но въдь художникъ не того хотълъ, -онъ хотълъ, чтобы мы видъли природу, а не стекло. Стремленіе къ реализму сбило его съ пути и завело туда, куда онъ вовсе не шелъ. Картины на стеклѣ имѣютъ свои достоинства, но не даромъ живопись масляными красками на полотнъ предпочитается: она всего свободнье, она богаче

средствами. И потому странно, что высшій родъ живописи вдругъ произвель подражаніе низшему. Что было бы хорошаго, еслибъ масляными красками написать картину, которая какъ двѣ капли воды походила бы на нарисованную карапдашомъ?

И выводъ изъ всего одинъ: реализмъ напрасно накладываеть на себя всякаго рода путы, стремясь то съ той, то съ другой стороны подделаться подъ природу. Такая поддёлка всегда бываетъ неудачнымъ усиліемъ, часто смішнымъ напряженіемъ достигнуть невозможнаго, и всегда нарушаетъ строй цълаго произведенія. Искусство должно быть свободите. Правда внутренняя — вотъ чего долженъ добиваться реализмъ, а не гоняться исключительно за внѣшней правдой. По нашему общему расположенію къ реализму, мы очень часто грѣшимъ въ этомъ отношеніи. Признается почти за общее правило, что чъмъ натуральные тымъ лучше, что натуральностію (хотя бы только частяхъ, въ отдъльныхъ подробностяхъ) ничего не испортишь. Отсюда и у нашихъ романистовъ мъстами чрезвычайная, напряженная дробность описаній. Мы даже уже вполив привыкли къ ней и не замъчаемъ, какъ теряется свобода, живость и ясность разсказа, какъ онъ становится совершенно неестественнымъ. Но то, что еще тершимо въ словесномъ искусствъ, самомъ широкомъ и 128 ночь

вольномъ въ своихъ пріемахъ, то совершенно нетернимо въ другихъ искусствахъ, связанныхъ болье тъсными условіями.

Натуральность всегда выгодна, всегда беретъ свое, потому что она ничего не требуетъ отъ зрителя; при ней можно вовсе обойтись безъ той художественной работы, которая должна совершаться въ зрителъ и безъ которой невозможно никакое наслажденіе искусствомъ. Толпа, ломившаяся въ залу, гдъ стояла картина г. Куинджи, большею частію уходила изъ этой залы конечно съ однимъ физическимъ впечатлъніемъ, съ которымъ не было соединено ничего художественнаго; за то ужъ физическое впечатлъніе не миновало ни одного человъка. Спрашивается, ужели такимъ результатомъ, такимъ успъхомъ можетъ быть доволенъ художникъ? Ужели ему не хотълось ударить но другимъ, болье глубокимъ струнамъ?

А зрители, конечно, рады. Опи всегда бросаются на то, гдѣ не требуется душевной работы, гдѣ довольно глазъ и ушей, чтобы получить запимательное впечатлѣніе, и, что всего грустнѣе, мпогіе вовсе не подозрѣваютъ, чтобы еще что нибудь было нужно. Въ сущности, между художествомъ и его востоянными потребителями (позвольте такъ выразиться) существуетъ жестокое и повальное недоразумѣніе, которое на тысячу ладовъ разъигрывается предъ каждой картиной, на каждой выставкъ, на каждомъ концертъ и театральномъ представленіи. Ежедневно съ утра до вечера происходитъ тутъ чистая игра въ жмурки. Художникъ не видитъ своей публики и безпрестанно съ усердіемъ бъетъ по тому мъсту, гдъ совершенно пусто; зритель или слушатель не видитъ того, что развертываетъ передъ нимъ художникъ, и безпрестанно старается что нибудь поймать, хватается за что попало, но только не за то, что ему даютъ. Зрълище въ сущности очень комическое, а если немножко долго, то и утомительное. Понятно, отчего, замътивъ приближеніе конца, зритель не безъ удовольствія торопится уйти, недосмотръвъ и недослушавъ.

Ну что-жь! Въдь это лишь забава, и нъсколько времени убито безъ особой скуки.

29 ноября 1881.



Толки объ Л. Н. Толстомъ.

По плодамъ ихъ вы узнаете ихъ.

Толки объ Л. Н. Толстомъ продолжаются. На чались эти толки уже давно, лътъ десять или двенадцать назадъ, вскоре после окончанія Анны Карениной; они быстро усилились и потомъ стали постояннымъ, непрерывнымъ явленіемъ. Мы къ нимъ даже совершенно привыкли и уже не замъчаемъ, какъ много туть удивительнаго, ничуть не думаемъ, что передъ нами, можетъ быть, происходить событіе величайшей важности. Припомнимъ, когда же бывало что нибудь подобное? Малфишія извъстія о томь, что пишется и какъ живется въ Ясной Полянь, газеты номыщають наравны съ наилучшими лакомствами, какими онъ угощають своихъ читателей, т. е. нарави съ политическими новостями, съ пожарами и землетрисеніями, скандалами и самоубійствами. И мы потомъ ежедневно треплемъ своими языками имя знаменитаго писателя съ неменьшимъ усердіемъ, и обыкновенно съ такимъ же хладнокровіемъ, какъ имена Бисмарка или Вильгельма II. Но мы знаемъ, на этой болтовнѣ дѣло не останавливается. У многихъ, особенно у молодыхълюдей, на Л. Н. Толстаго устремленно серіозное, душевное вниманіе.

И это не у насъ только дома. Извъстность Л. Н. Толстаго стала истинно всемірною; о немъ пишутъ и за нимъ следять во всехъ образованныхъ странахъ. Каждая его новая повъсть сейчасъ переводится на разные языки, каждая театральная піеса ставится на сценъ, переводится каждая страница даже старыхъ неконченныхъ рукописей, какъ нубудь попавшая въ руки ревностныхъ почитателей, переводятся и чужія разсужденія, которыя онъ одобриль и спабдиль своимъ предисловіемъ. И это дълается никакъ не по одной усилившейся фабрикаціи празднаго чтенія. Во Франціи, въ Германіи, въ Англіи, въ Америкъ,вездъ писанія Л. Н. Толстаго возбуждають живъйшія интересъ, порождають толки и споры. Можетъ быть, со временъ Вольтера не было писателя, который производиль бы такое сильное дъйствіе на своихъ современниковъ.

Тутъ есть чему подивиться и о чемъ задуматься. Правда, бываетъ слава фальшивая, бываютъ всесвѣтно громкія имена, которыя потомъ забываются; но обыкновенно человѣчество не ошибается въ своей любви и въ своемъ удивленіи. Упорно и неотвратимо привязываются умы къ тому имени, подъ которымъ имъ почуялось истинное величіе, явился предметъ достойный истиннаго поклоненія. Вотъ почему поэтъ такъ рѣшительно сказалъ:

И намъ ужъ то чело священно, Надъ коимъ вспыхнулъ сей языкъ.

Славное имя всегда есть любопытная задача для нашихъ мыслей. Иногда въ прославленіи обнаруживается только настроеніе читателей и зрителей, создающихъ себѣ кумиръ по своему вкусу; но обыкновенно даже сумазбродный энтузіазмъ, даже фанатическое гоненіе или превознесеніе какого нибудь человѣка имѣютъ свое основаніе въ самомъ этомъ человѣкъ и его дѣятельности. Если мы станемъ старательно вникать въ дѣло, мы почти всегда откроемъ въ немъ важный вопросъ, глубокій поворотъ умовъ, или обнаруженіе душевныхъ силъ, далеко превосходящихъ обыкновенную мѣру.

I.

Единый духъ во всей дѣятельности.

Отчего такъ знаменитъ Л. Н. Толстой? На этотъ вопросъ многіе сейчась такъ отвътять: оттого, что онъ написалъ геніальныя художественныя произведенія, Войну и миръ, Анну Каренину. Это настоящая причина его извъстности; безъ этого ни-

вто не обратиль бы вниманія на тѣ плохія разсужденія, которыя онь сталь потомь писать. Онь прославился именно какъ великій художникъ, и воть теперь носятся съ каждой страницей, котокую онь напишеть, разбирають его наставленія принимають ихъ въ руководство для жизни, хотя всѣ эти писанія ничего не стоять и составляють для него просто стыдъ, а не славу. Такъ отвѣчають одни, а другіе идуть ище дальше. Онъ великъ какъ художникъ, говорять они, а по тому самому мы не читаемъ его разсужденій и не хотимъ обращать на нихъвниманіе. Художнику слѣдуеть оставаться художникомъ, и онъ не можеть ничего хорошаго сдѣлать, если берется не за свое дѣло.

Легко однако замѣтить, что всѣ эти рѣчи принадлежать людямь, желающимь непремѣнно осудить послѣдній періодъ дѣятельности Л. Н. Толстаго. Они хватаются за его огромную художественную славу, чтобы такъ или иначе обратить ее противъ него, сдѣлать изъ нея орудіе, подрывающее его авторитеть. Они часто увѣряють при этомъ, что они даже необыкновенно любять Толстаго-художника, но за то Толстаго-мыслителя терпѣть не могутъ.

Добрые люди, повторяющіе подобныя рѣчи, конечно, сами не замѣчаютъ, что они пускаютъ въ

дьло очень жалкую уловку, очень наивное лицемѣріе. Во-нервыхъ, можетъ быть, большую долю всемірной изв'єстности Толстаго нужно приписать не его художественнымъ произведеніямъ, а именно тому религіозно-нравственному перевороту, который въ немъ совершился и смыслъ котораго онъ стремился выразить и своими писаніями, и своею жизнью. Какъ бы мы ни судили объ этомъ переворотъ, но, очевидно, образованный міръ быль пораженъ зрълищемъ человъка, въ которомъ съ такою силой, безъ всякихъ внёшнихъ толчковъ, сказались въчные запросы души человъческой. Нужно отдать людямъ честь: никакое литературное мастерство не могло привлечь ихъ любопытства и уваженія въ такой степени, какъ та душевная исторія, которая совершилась и совершается предъ ихъ глазами въ Ясной Полянъ. Даже въ тъхъ, кто такъ усердно порицаетъ Толстаго, есть, очевидно какоето живое чувство, заставляющее ихъ съ жадностію следить за всемь, что онъ делаеть и думаеть.

Что же касается до противоположенія между художникомъ и мыслителемъ, то это было бы чрезвычайно легкій и простой выходъ изъ затрудненія, почему за этотъ выходъ и хватаются упорные люди. Но, какъ я сказалъ, они въ этомъ случать только лицемърятъ вольно и невольно. Не любитъ художественныхъ произведеній Толстаго, не можетъ

136 толки

ценить ихъ глубокаго духа и содержанія тоть, кто не понимаетъ, какъ тъсно они связаны съ его новыми писаніями. Тѣ самыя начала, которыя онъ теперь проповъдуеть, безсознательно жили въ немъ всегда и составляли душу всего, что онъ тогда писалъ. На каждой странице его разсказовъ можно видъть, что выше всякой красоты для него всегда стояла красота душевная, что эту красоту онъ видитъ въ "простотъ, добротъ и правдъ", что истинное мужество состоить для него въ терпъніи и преданности, что истинная любовь всегда для него цёломудренна, и что самые смиренные люди ему являются прекраснье самыхъ великихъ героевъ. Долго очаровываль насъ Толстой этими картинами, и долго самъ былъ очарованъ ими. Но, наконецъ, онъ какъ будто вдругъ опомнился на верху славы и счастія и съ изумленіемъ взглянуль на себя и на другихъ. Онъ какъ будто спросилъ себъ: развъ все это забава? Развѣ можно жить, не зная твердаго пути жизни? Для чего я живу и пишу, если не нашелъ этого пути и не могу указать его другимъ? И онъ съ отчаяніемъ сталъ искать этого пути, влагая въ это исканіе всю свою умственную силу. Тогда для него получила новое, неизмъримо болье глубокое значение вся та красота души, которою онъ прежде только безпечно любовался. Изъ эстетика онъ обратился въ нравственнаго проповѣдника; но содержаніе его художественыхъ образовъ и его практическихъ паставленій осталось въ сущности одно и то же. Толстой, можно сказать, подписалъ для насъ и для себя нравоученіе подъ тѣми баснями, которыя прежде разсказывалъ.

И какъ не видъть, что сдълать это было и полезно, и даже совершенно необходимо? Теперь вёдь стало ясно для всёхъ, и для самого автора, что эти безподобныя художественныя произведенія, въ которыхъ новсюду разлито самое высокое и чистое нравственное чувство, не дъйствовали на читателей такъ, какъ должны были действовать. Когда мнимые любители этихъ произведеній изливаются въ восторгахъ отъ ихъ красотъ и вмѣстѣ отворачиваются отъ нравственныхъ наставленій художника, они только доказывають или свое непониманіе, или извращеніе своего эстетическаго вкуса. И, следовательно, Толсгой не могъ и не долженъ былъ ограничиться однимъ художествомъ. Странно подумать, Анну Каренину, это глубоко цёломудренное произведеніе, иные сумъли такъ читать, что въ нихъ возбуждались только нечистыя чувства и мысли. Они любовались картинами роскошной жизни и нробъгающихъ по ней вспышекъ чувственности и разврата. Понятно, что художникъ не захотълъ больше подоонаго эстетическаго поклоненія. Онъ написаль Крейцерову сона138 толки

ту, онъ такъ безпощадно избичевалъ нашу нечистую жизнь, что ошибиться въ его мысли уже было невозможно.

Любители литературы часто упрекають Толстаго за то, что онъ теперь пишеть не одни художественныя произведенія, да если и создаеть что нибудь художественное, то не вносить въ дѣло полнаго своего искусства. Для этихъ любителей, очевидно, не имѣетъ никакого значенія внутренній перевороть, совершившійся въ художникѣ,—такъ мало имъ дорогь этотъ художникъ, такъ мало они цѣнятъ и понимаютъ самый глубокій нервъ его дѣятельности!

Но для понимающихъ между двумя половинами дѣятельности Толстаго нѣтъ разлада и нельзя дѣлать противоположенія; напротивъ, одна половина поддерживаетъ и поясняетъ другую. Кто вникнетъ въ его нравственныя наставленія, для того вдругь открывается самый глубокій и драгоцѣнный смыслъ его художественныхъ произведеній, тѣ тайныя и и иногда еще неясныя для самого художника побужденія, которыми оживлялось его творчество. И на оборотъ, чтобы точно понять направленіе и духъ его послѣднихъ поученій, мы можемъ и должны обращаться къ его чисто художественнымъ созданіямъ, гдѣ этотъ духъ раскрывался еще спокойно, еще безъ порыва и волненія, и потому высказывался часто съ великою тонкостью и правдой, хотя

прежде многіе видѣли въ этомъ только одну роскошь еще неслыханнаго художества. Такъ мы должны поступать, если хотимъ быть вполнѣ справедливыми къ Толстому. Не цѣпляться за мелкіенедостатки и обмолвки, не ловить мелкія и второстепенныя противорѣчія, а брать его въ цѣломъ составѣ его дѣятельности, понять и прослѣдить тотъ единый духъ, который проникаетъ все, что онъ творилъ, думаль и дѣлалъ. Предъ нами огромное явленіе, которому, по его размѣрамъ и значенію, трудно найти подобное во всей исторіи всемірной литературы.

II.

Христіанское, религіозное явленіе.

Все дѣло въ томъ, чтобы найти правильную точку зрѣнія на Толстаго, отыскать тотъ центръ, которымъ управляются его мысли и дѣйствія, изъ котораго поэтому хорошо видна ихъ связь и порядокъ.

Этотъ центръ, эта исходная точка всѣхъ его стремленій есть не что иное, какъ евангельское ученіе. Если мы хотимъ понимать Толстого, то прежде всего должны смотрѣтъ на него, какъ на нѣкотораго христіанина, какъ на одного изъ послѣдователей Христова ученія.

Чрезвычайно странно, что этотъ важнъйшій

пунктъ всего дъла обыкновенно вовсе не приходить на мысль ценителямь и порицателямь, что они не видять здісь, по крайней мірі, существеннаго вопроса, который нужно разсмотрѣть самымъ тщательнымъ образомъ. Естественно, положимъ, что этотъ вопросъ не занимаетъ тъхъ, кто на всякую религію смотрить съ пренебреженіемъ; но ревнителей христіанства, казалось бы, должно глубоко интересовать религіозное настроеніе Толстаго. Не видно, однако, чтобъ они надъ этимъ задумывались; съ самымъ легкимъ сердцемъ они лишаютъ его имени христіанина, какъ будто такое лишение не великая обида, и бываютъ готовы, по всякому попавшемуся поводу, приписать ему мнънія и чувства совершенно противоположныя христіанскимъ.

Между тёмъ, многіе ли изъ насъ имѣютъ больше правъ называться христіанами, чёмъ Толстой? Напомню здѣсь исторію его обращенія, которую всѣ знаютъ, или, по крайней мѣрѣ, могутъ знать, но въ которую очень мало вникаютъ. Какъ онъ самъ говоритъ, онъ былъ сперва нигилистомъ, т. е. не имѣлъ никакихъ религіозныхъ убѣжденій, да не имѣлъ, въ противоположность обыкновеннымъ нигилистамъ, и никакихъ политическихъ убѣжденій. И онъ не былъ въ этомъ случаѣ какимъ нибудь исключеніемъ; такихъ нигилистовъ у

насъ было и есть великое множество. Онъ жилъ тогда не столько правилами и мыслями, сколько своими чувствами и вкусами, и художественная деятельность, казалось, давала полный исходъ его душевнымъ силамъ. Вдругъ наступилъ переворотъ. Среди полнаго благополучія, когда слава его поднялась высоко, богатый, знатный, здоровый, окруженный любящей семьей, онъ вдругъ почувствоваль пустоту земного счастья, почувствоваль съ такою силой, что пришель въ отчаяние. Невольно приходить на мысль сближение съ тъмъ царевичемъ, который основаль буддизмъ. Уже это одно отчанніе Толстаго должно быть для насъ великимъ религіознымъ поученіемъ, и оно, безъ сомнѣнія, такъ и дъйствуетъ на многихъ, оно для нихъ убъдительный примфръ, что ничто земное не можетъ насытить душу человѣка и что нужно обратиться къ небесному, къ религіи. А противники Толстаго, считающіе себя настоящими христіанами, должны бы серьезно спросить самихъ себя, точно ли они чувствують всю тщету земныхъ благь въ такой мъръ, какъ онъ ее чувствоваль?

Съ какою силой онъ почувствоваль свою бѣду, съ такою же силой онъ сталь искать отъ нея спасенія. Онъ отдался этому исканію всѣмъ сердцемъ и всею душой. Очень скоро онъ увидѣлъ, что отвлеченныя умствованія и мертвыя книги не дадутъ ему успокоенія, и онъ выбраль другой, живой путь, чьмъ далъ намъ новое поучение. Онъ сталъ искать вокругъ себя людей, которые знають, зачёмъ жить и какъ умирать, следовательно людей истинно и твердо в рующихъ, и нашелъ ихъ въ русскомъ простомъ народъ. Иусть не забудутъ ревнители христіанства, въ какой великой школь обучался въръ графъ Толстой. Они должны согласиться, что въ выбор в этой школы имъ руководило глубокое религіозное пониманіе. Наши образованные классы таковы, что не могли дать ему того, чего онъ жаждаль. Онъ обращался ко всемь, онъ спрашиваль о въръ Каткова, Аксакова, митрополита Макарія, но не былъ вполнъ удовлетворенъ ихъ отвътами; только у простыхъ людей онъ несомнънно нашелъ ту мудрость, которая утаена отъ мудрыхъ и разумныхъ и открыта младенцамъ. Каковы бы ни были убъжденія Толстого, но при оцънкъ ихъ никогда не следуетъ забывать, что они развивались подъ вліяніемъ, можно сказать, наилучшаго христіанскаго элемента, какой только есть въ мірѣ. Долгіе годы Толстой провель въ близкомъ и постоянномъ общеніи съ простымъ народомъ, къ которому онъ и всегда чувствовавъ особенное влеченіе. Туть онь учился, какъ "по Божью" жить, мыслить и чувствовать. А къ этому нужно еще прибавить, что такую школу проходиль человъкъ, одаренный геніальнымъ поэтпческимъ чутьемъ, способный видѣть всіз душевные изгибы и глубины. Лучше кого бы то ни было онъ могъ понять усвоить основы народнаго благочестія, и по всему этому, какъ бы мы ни были расположены искать у него ошибокъ и преувеличеній, но мы, безъ сомнѣнія, должны признать въ немъ живое и могущественное проявленіе той самой религіозности, которая одушевляетъ русскій народъ. Иностранные писатели часто говорятъ, что Толстой былъ обращенъ къ религіи однимъ изъ пашихъ раскольниковъ. Это не вѣрно; но попятно, что въ глазахъ иностранцевъ два различныя явленія подходятъ подъ одну формулу, подъ ту черту глубокой вѣры, которую знаетъ весь міръ за Россіей.

На этомъ дѣло, однако же, не могло остановиться. Такъ или иначе, но Толстой, конечно, не могъ ограничиться дѣтскою и простодушною вѣрой народа; неизбѣжно должны были возникнуть старанія привести ее себѣ къ сознанію, облечь ее въ ясныя понятія. Онъ сталъ читать богословскія книги, принялся изучать Священное Писаніе и посвятилъ на это много времени, много напряженнаго труда. Когда-то прежде онъ ради Гомера выучился погречески; теперь это знаніе пригодилось, чтобы вникать въ подлинникъ Евангелія, и онъ выучился поеврейски, чтобы точно такъ же читать въ под-

липникѣ Вехтій Завѣть. И туть, не должны ли мы поставить его себѣ въ примѣръ и образецъ? Кто изъ насъ, изъ тѣхъ, которые считаютъ себя настоящими христіапами и упрекаютъ его въ заблужденіяхъ, кто на столько заинтересованъ своимъ христіанствомъ, чтобы прилежно изучать Библію и писанія богослововъ? Мы предаемся всякой любознательности, но меньше всего мы любознательны къ тому, что считаемъ, будто бы, самымъ важнымъ для себя предметомъ. Толстой по казалъ, какъ должны бы мы вести себя въ этомъ отношеніи, если бы были истипно религіозными людьми.

Наконецъ извѣстпо, что онъ измѣнилъ образъ своей жизни, что онъ старается на дѣлѣ выполнять свои новыя убѣжденія. Но тутъ, конечно, мы пе можемъ произнести полнаго сужденія, ибо это его личное дѣло, которое очень трудно цѣнить и разбирать, даже если бы мы имѣли на то какое нибудь право и возможность. Тутъ отъ насъ легко могутъ укрыться самыя существенныя стороны, и мы что нибудь побочное и случайное примемъ, пожалуй, за самое главное. Достовѣрно и ясно только то, что онъ непрерывно дѣлаетъ усилія и попытки новой жизни. Всѣмъ извѣстно его отреченіе отъ мірскихъ благъ, этотъ внѣшній признакъ поворота; внутренніе же его подвиги не могутъ

быть извъстны и, можеть быть, останутся навсегда тайной между нимъ и Богомъ.

Если теперь мы соединимъ вмъстъ всъ указанныя черты, то предъ нами окажется полный образъ истинно религіознаго человѣка, притомъ образъ яркій и величавый. Среди нашей, въ сущности, языческой жизни, среди равнодущія къ религіи и невфрующихъ и вфрующихъ, онъ показалъ намъ, какую силу можетъ и должна имъть для человъка религіозная идея: И такъ какъ онъ притомъ великій художникъ, такъ какъ всёми симпатіями и мыслями онъ сливается съ народнымъ нашимъ благочестіемъ, то нѣтъ сомнѣнія. что онъ составляеть одно изъ глубочайшихъ и замѣчательнѣйшихъ явленій религіознаго духа. Люди, преданные религіи, ставящіе духовную жизнь выше всего, должны смотръть на него и съ уваженіемъ, и съ величайшимъ любопытствомъ. Въ немъ они навърное найдуть для себя много поучительнаго и назидательнаго, чего уже никакъ нельзи найти у тѣхъ, которые называютъ себя настоящими христіанами, но о въръ никогда не думають, предоставлян эту заботу духовнику, а въ жизни спокойно плывутъ туда, куда дуетъ вѣтеръ.

III.

Раціонализмъ и отреченіе отъ него.

"Все это такъ,—скажутъ намъ,—но въдь Толстой умствуетъ и по своему толкуетъ тексты; онъ не вѣрующій, а раціоналисть".

Но, во-первыхъ, кто же не раціоналистъ? Какъ Мольеровскій мішанинь быль очень удивлень, узнавъ, что говоритъ прозой, такъ безъ сомнфнія, многіе ревнители вѣры не подозрѣваютъ, что раціонализмъ вообще есть дёло неизбёжное, и что сами они на каждомъ шагу оказываются раціоналистами. Несколько леть тому назадь одна благочистивая дама, живущая въ далекой глуши, спра шивала меня: "Объясните мнъ, за что всъ такъ бранять Толстаго?, -, Больше всего за то, - отвъчаль я-что онъ по своему толкуетъ Евангеліе". - "Ахъ, Боже мой!-возразила она,-да вѣдь и я его толкую по своему, какъ понимаю, и нянюшка Михайловна тоже какъ понимаетъ, такъ и объясняетъ. Мы объ постоянно читаемъ Евангеліе, но у насъ тутъ не у кого и спросить, върно ли мы поняли". Признаюсь, это возражение на минуту сбило меня, и этоть случай остался въ моей памяти, какъ самая простая формула вопроса о нашихъ отношеніяхъ къ тексту Священнаго Писанія. Не слѣдовало-ли мнѣ сказать этимъ двумъ читательни-

цамъ, что онъ подвергаются большой опасности ложно понять слова Евангелія, и что имъ нужно запастись богословскими сочиненіями, устанавливающими правильное истолкованіе? Но вѣдь богословскія сочиненія были бы для нихъ въ тысячу разъ менъе понятны, чъмъ само Евангеліе. А потомъ, и это главное, для меня было внѣ всякаго сомнінія, что эта дама и ея безподобная Михайловна никогда евангельскихъ словъ не истолкуютъ и не могуть истолковать въ дурномъ духъ. Слъдовательно, дёло не въ томъ, что мы пускаемся въ собственныя объясненія и умствованія, а въ томъ, съ какимъ духомъ мы приступаемъ къ чтенію Писанія, чего мы въ немъ ищемъ. Многіе, какъ извъстно, убъждены, что это чтеніе вообще опасно. "Изученіе Священнаго Писанія вовсе не такъ легко и требуетъ головы не менфе сильной, чыть изучение какой либо другой науки. Ныть ничего опаснъе, какъ плохое пользование текстами Откровенія" *). Если бы такъ, если бы только "сильныя головы" способны были надлежащимъ образомъ понимать тексты Писанія и вполнъ безопасно ими пользоваться, то намъ следовало бы признать очень вредною діятельность всіхъ, кто такъ ревностно распространяетъ Иисаніе среди самыхъ темныхъ слоевъ народа. По счастію, все

^{*)} См. Русское Обозръніе, 1890, декабрь, стр. 895.

это дёло имѣетъ совершенно другой видъ. Не умомъ постигается главный смыслъ Писанія, а сердцемъ, всёми живыми силами нашей души. Кто приступаетъ къ Писанію съ тёмъ религіознымъ чувствомъ, искра котораго таится въ самыхъ простыхъ и темныхъ душахъ, тотъ найдетъ въ божественной книгѣ пищу для этого чувства, и тёмъ больше пищи, чёмъ сильнѣй и глубже его чувство.

Всё мы отчасти раціоналисты, потому что во всякомъ дёлё мы неизбёжно разсуждаемъ, а если разсуждаемъ, то, значитъ, прибёгаемъ къ какимъ нибудь началамъ и пріемамъ разума, и даже всегда стараемся проводить эти пріемы и начала какъ можно дальше. Но быть вполнё раціоналистомъ, т.-е. опираться на одинъ только разумъ, едва ли кто можетъ, почему люди, стремящіеся къ полному раціонализму, обыкновенно отличаются лишь тёмъ, что больше другихъ отрицаютъ и сомнёваются. Если обратимся къ Толстому, то, конечно, онъ началъ съ раціоналистическаго отрицанія и сомнёнія; но уже давно онъ пришелъ къ образу чувствъ и мыслей, которыя нельзя назвать раціонализмомъ.

Онъ повърилъ въ Евангеліе, онъ всѣмъ сердцемъ почувствовалъ и призналъ надъ собою власть Христова ученія. Поэтому, тогда какъ для раціоналиста Евангеліе есть книга на ряду съ другими книгами, и слова этой книги подлежать обсужденію наравнь со всякими другими человьческими словами, — для Толстаго эти слова есть высшій авторитеть, несравнимый ни съ какимъ другимъ. Онъ не смотрить на ученіе Христа объективно, не подвергаеть его какой нибудь исторической или исихологической критикъ; онъ всьмъ умомъ и сердцемъ стремится къ одной лишь цъли—понять это ученіе, уразумьть ту высочайшую правду, которая въ немъ заключается и которая уже влечеть за собою исполненіе естественно и неизбъжно. Онъ прилежно ищетъ въ словахъ Христа указаній для жизни и потомъ слъдуеть этимъ указаніямъ —

Везропотно, какъ тоть, кто заблуждался И встречнымъ посланъ въ сторону иную.

Да мало сказать и безропомно: нужно сказать—
радостно, какъ тотъ, кто съ ужасомъ чувствовалъ,
что не не знаетъ и не можетъ узнать, куда идти,
и кого вдругъ вывели на прямой и ясный путь
къ родному дому.

Развѣ это живое и сердечное отношеніе къ евангельской проповѣди похоже на раціонализмъ? Чтобъ яснѣе увидѣть разницу, возьмите настоящихъ раціоналистовъ, возьмите лучшаго изъ няхъ—Ренана. Мы всѣ его читали, и конечно съ несравненно большимъ вниманіемъ и уваженіемъ, чѣмъ Толстаго. Итакъ, припомните, что Ренанъ по време-

намъ относится къ Христу съ явнымъ чувствомъ своего умственнаго превосходства. Онъ признаетъ, что это былъ человѣкъ высшаго разряда (un homme supérieur), и очень восхищается Его нравственными качествами; но относительно людскихъ дѣлъ и хода историческихъ явленій Ренанъ открываетъ въ Немъ слѣды незнанія и непониманія, и замѣчаетъ объ этомъ съ нѣкоторою высокомѣрною снисходительностію.

Ничего подобиаго этой жалкой "игрѣ ума", этимъ жалкимъ обобщеніямъ и отвлеченіямъ, вы не найдете у Толстаго. Для него Христосъ есть явленіе единственное и несравнимое, есть живое лицо, въ которомъ воплотилась высшая истина. Для него судить и критиковать Христа есть нельное пустословіе, а слѣдуетъ дѣлать одно — съ открытымъ сердцемъ вникать въ Его жизнь и слова, потому что кто вникнетъ, тотъ и предастся имъ всею душой.

Опять скажу: нашъ великій художникъ подаєть намъ всёмъ великій примёръ. Своимъ геніальнымъ чутьемъ онъ понялъ, какъ праздны и мертвенны всё отвлеченныя толкованія и изученія; онъ перешелъ отъ всякихъ разсужденій и изслёдованій къ живой любви, къ радостной, сердечной покорности. Такой переходъ долженъ быть всегда цёлью и концомъ исканія истины.

Величайшую несправедливость и величайшую обиду Толстому дёлають тё, которые говорять и печатають, что онь проповёдуеть "повую вёру", что онь сочиниль "новое евангеліе". Конечно, его противники посредствомъ такого пріема сразу вышгрывають дёло, — кто же захочеть предпочесть Христовой вёрё другую вёру и другое евангеліе? Но къ подобнымь вещамъ самъ Толстой не подаваль никакого повода. Онъ постоянно твердить, что исповёдуеть только ученіе Христа и что желаеть объяснить Христово Евангеліе, а не возвёстить что-нибуль новое.

IV.

Мы вовсе не хотимъ разбирать здёсь какія-инбудь ученія Л. Н. Толстаго, не хотимъ ни защищать ихъ, ни опровергать. Пусть это дёлаютъ другіе, какъ скоро сознаютъ, что они достигли яснаго пониманія дёла и что могуть сказать о немъ чтонибудь твердое и хорошее. Наша цёль гораздо проще и легче: мы хотёли бы только указать на самыя ясныя и несомнённыя черты дёла, на самыя очевидныя и неизбёжныя точки зр'ёнія, на которыя долженъ становиться всякій, кто берется судить объ этомъ дёлё. Читая и слушая безчисленные толки о Толстомъ, часто нельзя не изумляться тому, 152 толки

въ какихъ потемкахъ живутъ люди относительно важнъйшихъ вопросовъ, и можно только радоваться. если наконецъ эти вопросы стали для нихъ вопросами, если наконецъ они вынуждены отдавать себъ въ нихъ отчетъ. Но сила потемокъ очень велика; поэтому у многихъ, вмъсто умственнаго и нравственнаго возбужденія, часто все ограничивается однимъ упорнымъ непониманіемъ и оканчивается совершенно несправедливымъ негодованіемъ и пренебреженіемъ. Очень любопытная черта: нападенія и крики на Толстаго у насъ несравненно распространенные и жесточе, чымь за границей, въ странахъ давняго образованія. Тамъ, очевидно, есть привычка, такъ сказать, къ теоретической терпимости, тамъ пріучились не отказывать разномыслящимъ въ уваженіи. Мы же, русскіе, будучи на практикъ самымъ терпимымъ народомъ въ міръ, на словахъ и въ мысляхъ встрѣчаемъ всякое разногласіе съ какимъ-то ожесточениемъ и безпощадно его отвергаемъ. Противъ Толстаго съ воплемъ подымаются люди, не замъчающіе, что сами они не имъютъ никакого права подавать голосъ въ религіозныхъ и нравственныхъ вопросахъ. И какъ только разъ началось осужденіе, то ужъ безъ разбора на геніальнаго писателя взводится нельность за нельностію и обвинители не подумають, что нужно бы тщательно изучать его писанія, вникать въ духъ и

связь его рѣчей, прежде чѣмъ рѣшиться приписывать ему даже малую долю того, что они приписывають.

Когда укоряють его въ томъ, что онъ по своему пониманію религіи, по совѣтамъ нравственности, или даже по жизни,—плохой христіанинъ, невольно хочется сказать инымъ укоряющимъ: кто изъ васъ лучше, тотъ пусть первый броситъ въ него камень. "Онъ искажаетъ догматы". Но развѣ за то, что мы этого не дѣлаемъ, мы стоимъ большой похвалы? Мы вѣдь ихъ не искажаемъ только потому, что вовсе о нихъ не думаемъ, что мы въ сущности совершенно къ нимъ равнодушны и предоставляемъ ихъ пониманіе и истолкованіе другимъ людямъ. Только поэтому мы и воображаемъ, что имѣемъ право считать себя настоящими православными. Мы не говоримъ и не размышляемъ о догматахъ, а потому, конечно, никакъ не можемъ искажать ихъ.

Но вѣдь въ строгомъ смыслѣ и этого сказать нельзя. Мы все-таки пускаемся иногда вспомикать и опредѣлять догматы, и такъ какъ всѣ мы невѣжды въ церковномъ ученіи, то мы неизбѣжно его искажаемъ; если хорошенько допросить насъ о нашемъ пониманіи религіозныхъ истинъ, то оказалось бы, что, почти безъ исключенія, каждый изъ насъ еретичествуетъ въ томъ или въ другомъ пунктѣ. И мы спасаемся отъ ереси только однимъ, только тѣмъ,

154 толки

что не придаемъ никакого значенія собственнымъ словамъ и мыслямъ, что мы готовы отказаться отъ нихъ по первому требованію.

Итакъ, все наше преимущество предъ Толстымъ состоить въ томъ, что мы не проповъдуемъ того, что думаемъ, и даже, еще лучше, что мы вовсе не думаемъ о чемъ-нибудь такомъ, что нужно бы проповъдывать. Единственно поэтому мы признаемъ себя хорошими христіанами, да поэтому же ревнители въры, если и не одобряють насъ, то, но крайней мфрф, закрывають на насъ глаза и не считають нужнымъ о насъ тревожиться. Между твмъ развв все это хорошо? Развѣ мы получаемъ въ силу этого какое-нибудь право судить и осуждать Толстого? Въ глазахъ людей преданныхъ религіи Толстой долженъ имъть передъ нами великое преимущество, потому что онъ одушевленъ истинно религіозною ревностію. Ошибается ли онъ, или нѣтъ, но во всякомъ случай онъ знаетъ, что онъ исповидуеть, онъ долго объ этомъ думалъ, онъ долго и прилежно изучалъ самые источники вфроученія. Чтобы намъ съ нимъ поравняться, чтобы пріобрести право судить его не съ чужого голоса, намъ нужно делать то самое, что опъ дълалъ. И, безъ сомнънія, въ образованныхъ классахъ иные почувствовали эту обязанность, такъ что, благодаря Толстому, кое-гдъ началось чтеніе и изученіе Евангелія. Но большийство, конечно, осталось нетронутымъ; они продолжаютъ кричать и поридать Толстого, сами не зная хорошенько за что, въ сущности же за то, что онъ нарушаетъ ихъ покой, тревожитъ ихъ невѣдѣніе и равнодушіе.

V.

Главное дѣло относительно Толстаго, однако же, не въ догматахъ. Если мы хотимъ быть справедливыми къ Толстому и судить его съ надлежащей точки зрѣнія, то должны видѣть, что центръ его ученія составляютъ не какіе нибудь догматы, а христіанскія правила жизни, изложеніе и объясненіе нашихъ обязанностей. Онъ проповѣдникъ не какой нибудъ теоріи, а практическаго христіанства, учитель нравственности. Сюда тяготьютъ всѣ его мысли, и если мы не будемъ пмѣть этого въ виду, то мы ничего въ немъ не поймемъ.

Напримѣръ, если мы находимъ, что онъ что нибудь отрицаетъ (а отрицаніе чаще всего ведетъ къ ошибкъ, какъ замѣтилъ Лейбницъ), то мы заранѣе должны предполагать, что онъ дѣлаетъ это не изъ простого скептицизма, не ради какой-то борьбы съ авторитетомъ, а потому, что видитъ въ отрицаемомъ помѣху чисто нравственному настроенію. Предъ такимъ стремленіемъ, передъ такою постановкой во-

проса мы не можемъ не почувствовать уваженія и вниманія. Ибо нравственность есть д'яйствительное мърило человъческаго достоинства и верховная точка зрѣнія. Никто не обязанъ имѣть высокій умъ, и всё обязаны имёть чистую сов'єсть. Всякія человъческія соображенія, всь наши желанія и блага должны отстунить на второй планъ предъ стремленіемъ къ нравственному совершенству. Да какъ скоро человъкъ завидълъ этотъ путь и одушевленъ нравственною силой, онъ уже не можетъ быть покоренъ никакою иною мудростію, никакимъ инымъ могуществомъ. Для нѣкоторыхъ философовъ, панримъръ, для Канта, нравственное чувство составляетъ самый источникъ религіи, и изъ требованій этого чувства они выводять религіозныя истины.

Именно съ этой стороны преимущественно намъ слѣдуетъ разсматриватъ Толстаго. Нужно прежде всего видѣть въ его писаніяхъ ихъ нравственное содержаніе вообще, а затѣмъ, опредѣленнѣе, ихъ стремленіе къ христіанскому нравоученію, какъ къ высшему и окончательному. Все, что сюда не относится, теоретическія истолкованія и практическія отрицанія, уже имѣютъ у Толстого второстепенное значеніе, и, не въ мѣру останавливаясь на нихъ, мы только затемнимъ дѣло. Поэтому, если кто непремѣнно желаетъ опровергнуть

Толстаго, тотъ пусть не ловитъ его на ошибочныхъ взглядахъ на природу Бога, міра и людей, на тъ или другія слова Писанія, а пусть доказываеть, если можеть, что Толстой проповедуеть дурныя нравственныя начала, что онъ не понялъ и извратилъ христіанское правоученіе. Нѣкоторыя духовныя лица (можеть быть, впрочемь, върнъе было бы заёсь поставить вмёсто множественнагоединственное число) поняли, что именно въ этомъ заключается вопрось о Толстомъ; но, къ несчастію, правильно поставивъ вопросъ, они сейчасъ же сошли съ върнаго пути, принявшись съ непонятною легкостью приписывать Толстому всевозможныя дикости. Какъ и почему это делается, действительно трудно понять. Дёло доходить до того, что, по случаю увъщаній Толстаго жить въ деревнь, говорили, что онъ ограничиваетъ всв потребности человъка вдою и питьемъ, а по случаю Крейцеровой сонаты — что онъ чуть ли не совътуетъ убивать невфрныхъ женъ, или, по крайней мфрф, совершенно оправдываетъ Познышева. Въ этой сумятицѣ истинно дикихъ сужденій, вихремъ поднявшихся и кружащихся около Толстаго, прежде всего ясно одно, - до какой степени онг противоръчить ходячимъ понятіямъ, установившемуся складу мыслей, и до какой степени онъ поразилъ умы, разбудилъ ихъ и встревожилъ. Одинъ изъ

его противниковъ, и притомъ очень жестокихъ, хорошо выразилъ это впечатлѣніе. "Что намъ дѣлать», восклицаетъ онъ,—«въ виду этой страшной Медузиной головы, этого колоссальнаго, какъ по силѣ и полнотѣ, такъ и но совершенному отсутствію основаній (?), осужденія всего нашего бытія (т. е нашей жизни) въ безсмысліи, лжи и разврать "*)?

Тутъ насъ должна изумлять и радовать сила, съ которою действуетъ проноведь, но вмёсте съ темъ намъ объясняется, отчего все пустились защищаться отъ нея, и защищаются какъ попало и чѣмъ нопало. Страннѣе же всего и почти невъроятно тутъ одно явленіе: какимъ образомъ люди ученые, обладающіе духовнымъ просвъщеніемъ, не видять настоящихъ основаній этой проповёди, или даже находять въ ней совершенное отсутствие оснований? Почему отъ нихъ совершенно укрылся христіанскій характеръ этой проповёди, тогда какъ онъ выступаеть въ ней повсюду, въ чертахъ яркихъ, вынуклыхъ, даже преувеличенныхъ? Чтобы отвъчать на это, остается одно предположение: должно быть никому уже не знакомъ истинный духъ христіанскаго нравоученія; должно быть онъ сталь очень далекъ отъ

^{*)} Вопросы Философіи и Психологіи, кн. 4-я, стр. 93, статья П. Е. Астафьева.

мыслей даже людей очень ученыхъ и просвѣщенныхъ. И таково дѣйствительное объясненіе дѣла: другой духъ завладѣлъ нашимъ просвѣщеніемъ, и мы, теперешніе просвѣщенные люди, не только не слѣдуемъ Христу, но и перестали понимать, чему онъ училъ.

Надъ Толстымъ иногда подсмѣиваются за то, что, разсказывая о своихъ поискахъ за истинною нравственностію, онъ выражается съ большою живостію, какъ будто онъ первый нашелъ отвѣты на вопросы, которые старался разрѣшить. Если бы мы оглянулись на себя, то мы перестали бы смѣяться; среди насъ Толстой, конечно, былъ бы правъ, сказавъ, что именно онъ открылъ настоящій духъ Христова нравоученія.

VI.

Судить о христіанскомъ нравоученіи вовсе не легко для тѣхъ, кто попалъ въ потокъ современнаго образованія и никогда не выходилъ изъ него. Вся наша жизнь построена на другихъ началахъ. Но духъ этого ученія, возникшій двѣ тысячи лѣтъ назадъ, еще дѣйствуетъ во всемъ мірѣ и прошелъ черезъ долгую исторію, въ которой раскрывалъ себя въ различныхъ направленіяхъ, выражался въ жизни и мысли длиннаго

ряда покольній, воплощался во множествь разнообразныхъ лицъ, часто несравненныхъ по высотъ души и всякимъ достоинствамъ. Все это, весь этотъ міръ--и прошлый, и настоящій-остается намъ чуждымъ; мы прикасаемся къ нему только внѣшнимъ образомъ и не имѣемъ понятія о томъ, какъ онъ огроменъ и что онъ въ себъ содержитъ. Замѣчательно, что до сихъ поръ объемъ того, что пишется и печатается по части религіи, т. е. по части богословія, исторіи христіанства, христіанскихъ наставленій и размышленій, толкованій Библіи, споровъ, разсказовъ и пр., во всёхъ странахъ объемъ этой литературы далеко превосходить объемъ всякой другой области писанія и печатанія. Но эта духовная сфера какъ будто отделена отъ насъ высокою стеной и ни малою долей не входить въ колею нашихъ привычныхъ ежедневныхъ чтеній, мыслей и разговоровъ. Туда намъ нужно заглянуть, тамъ искать поученія и точекъ опоры, если желаемъ имъть какія нибудь основанія для сужденія о Толстомъ.

Духъ христіанскаго нравоученія есть иѣчто глубокое и живое, есть нѣкоторый поворотъ всей человѣческой души въ сторону вѣчности. Онъ овладѣваетъ всѣмъ существомъ человѣка и, живи въ немъ, стремится измѣнить всѣ его склонности и дѣйствія, кладетъ свою печать на всѣ движенія

ума и сердца. И онъ всегда себѣ вѣренъ; въ различныхъ людяхъ и въ различныхъ обстоятельствахъ онъ даетъ все тъ же различныя развитія и уклоненія. Онъ есть нікоторая жизнь, высшая жизнь нашей души, и, какъ жизнь, онъ вёчно тотъ же, и въчно новъ и свъжъ. Поэтому, если взять любое изъ наставленій Толстаго, любую изъ его мыслей, относящихся къ нравоученію, то всегда можно найти эту мысль, или близкую къ ней, въ одномъ изъ ученій, возникавшихъ на почвѣ христіанства. И въ предълахъ церкви, и за ея предълами, одинъ и тотъ же духъ принималъ множество видоизмѣненій. Секты были обыкновенно только более резкими и крайними изъ этихъ видоизмѣненій. Такимъ образомъ, отъ самаго начала христіанской исторіи и до нашего времени идетъ непрерывный рядъ и такихъ ученій, въ которыхъ на первое місто ставилась практика святой жизни, осуществление правственныхъ идеаловъ. Последователи этихъ мирныхъ и чистыхъ ученій всегда внушали къ себъ невольное уваженіе, и многіе стали для всего міра образцами, типами нравственныхъ достоинствъ. Монахъ, подвижникъ, гернгутеръ, квакеръ-эти слова сдѣлались нарицательными, стали общимъ названіемъ иля обозначенія извъстнаго поъеденія, извъстныхъ добрыхъ качествъ.

Вотъ въ какой области нужно искать наиболже

162 толки

близкихъ аналогій для проповѣди Толстаго. Онъ приходитъ часто къ заключеніямъ, которыя уже давно выведены. Этого обыкновенно не понимаютъ и не знаютъ его порицатели; они иногда считаютъ личными его фантазіями, осмѣиваютъ и презираютъ то, подъ чѣмъ охотно подписались бы христіанскія свѣтила давняго или новаго времени.

Никакъ не слъдуетъ, однако же, думать, что ръчи Толстаго составляють какое-нибудь подражаніе, или повтореніе стараго. Удивительная сила этой проповъди зависитъ именно отъ ея чрезвычайной самобытности. Самобытность въдь не всегда состоитъ въ новости предмета; высшая оригинальность, конечно, заключается въ глубинъ и полнотъ, съ которою писатель проникаетъ въ какое-нибудь всегдашнее, вѣчное начало человѣческой души. Наставленія Толстаго представляють полное своеобразіе; они движутся по своимъ особымъ нутямъ, захватывають особыя сферы чувствъ и предметовъ и освъщають ихъ съ особыхъ сторонъ. Ибо это живая, искренняя рычь человыка, откровение его сердца, живущаго тъмъ самымъ, что онъ говоритъ. Тутъ все новое, потому что все живое. Вполнъ характеризовать его направленіе было бы, я думаю, не легко. Въ самыхъ первыхъ его художественныхъ произведеніяхъ уже сильно высказываются его христіанскіе инстинкты. Въ Дъмствъ юродивый Гриша

и нянюшка Наталья Савишна описаны съ сочувствіемъ, къ которому не примѣшивается ни единой нарушающей черты. Въ самомъ центръ Войны и мира помѣщена фигура Платона Каратаева и его разсказъ о безвинно пострадавшемъ купцѣ, -тотъ разсказъ, который, какъ говорятъ, особенно полюбился народу, когда быль издань отдёльно. Анна Каренина оканчивается обътомъ Левина жить по Божью". Мы напоминаемъ здёсь только двё-три точки; но имъ соотвътствуетъ весь духъ этихъ произведеній: безпощадное обличеніе всякой фальши, всякой душевной нечистоты; постоянное преклоненіе предъ "простотой, добромъ и правдой". Невозможно представить себф вкуса болфе чистаго и болье тонкаго, чымь тоть, съ какимъ проводится вездъ черта между дурнымъ и хорошимъ, между душевнымъ безобразіемъ и душевною красотой. И красотой признается только одно смиренное и безкорыстное, только целомудренное и самоотверженное, только искреннее и любящее. При этомъ художникъ чуждъ всякой восторженности и сентиментальности, всякихъ порывовъ и преувеличеній; напротивъ, онъ ведетъ дъло съ неподкупною трезвостью взгляда, съ небывалою остротой анализа, какъ человъкъ, встин силами ума ищущій истины и ненавидящій обольщеніе. Такъ составился въ его душь неотразимый идеаль нравственной жизни, 164 толки

больше всего почерпнутый изъ душевнаго склада простаго народа, и, когда потомъ поднялись въ немъ религіозные запросы, онъ скоро понялъ, что это идеалъ христіанскій, и сталъ изучать его въ Евангеліи и выражать въ своихъ разсужденіяхъ.

Мы не будемъ здѣсь нытаться полнѣе опредѣлить особенности нравоученія Толстого, которыя легче чувствовать, чѣмъ высказать; скажемъ лишь вообще, что писанія его чрезвычайно поучительны, представляють множество чертъ своеобразнаго склада нравственныхъ понятій, притомъ такого, который особенно привлекателенъ для русскаго чувства.

VII.

Итакъ, у насъ явился христіанскій нравоучитель Какая радость! Осуждая его за то, что онъ впадаетъ въ ересь, нужно же помнить, что, во-пер выхъ, онъ все-таки человѣкъ религіозный, слѣдовательно несравненно ближе къ правильно вѣрующимъ и несравненно лучше той безчисленной толпы, которая отвергаетъ всякую религію, которая питаетъ къ ней презрѣніе и ненависть. А во-вторыхъ, что значитъ вся его ересь сравнительно съ тѣми ужасными ученіями, которыя у насъ такъ распространены и дѣйствіе которыхъ еще недавно изумляло весь міръ и заставляло содрогаться Россію, какъ будто она готова была разрушиться?

Если мы, вообще, взглянемъ на наше умственное развитіе, на тѣ идеи, которыя жили и господствовали въ нашихъ образованныхъ классахъ, то мы должны будемъ признать Толстаго явленіемъ и радостнымъ, и совершенно неожиданнымъ. Наше просвъщение, по нъкоторому неизбъжному ходу вещей, получило общій характеръ отрицанія, фактъ извъстный, давно и часто обсуждавшійся. Укажемъ на тѣ два разряда людей, которыхъ нужно считать лучшими образчиками нашего просвъщенія, его наиболье посльдовательными носителями. Однихъ можно назвать анархистами, потому что принципъ ихъ-произволъ индивидуальнаго человъка, слъдовательно, отридание всякихъ началъ нравственныхъ, общественныхъ, государственныхъ, экономическихъ, какъ стъсняющихъ индивидуальный произволъ. Эти люди признаютъ только одно начало, -- равноправность всёхъ произволовъ, видять въ этой равноправности единственное общее благо и потому исповѣдуютъ политическій радикализмъ, т. е. считаютъ долгомъ разрушать всякую власть, всякую связь между людьми, идущую дальше полюбовныхъ соглашеній. Такова обывновенная, торная дорога нашего просвъщенія. Отсюда безпрерывное раздраженіе, постоянныя колебанія въ частной и въ общей жизни. По этой дорогѣ идетъ главная масса нашихъ образованныхъ классовъ, и только внутреннія тайныя силы, только незаглушимые инстинкты удерживаютъ большинство отъ крайнихъ ходовъ, на которые толкаютъ его сознательныя его нонятія.

Но есть другой разрядъ просвъщенныхъ людей, въ сущности гораздо худшій, хотя менфе замфтный. Они вполнъ заслуживаютъ имени нигилистовъ, потому что дъйствительно ничего не признають, кромъ себя и своихъ наслажденій. Они ни съ чъмъ не борются, а только всъмъ пользуются. Для нихъ религія, государство, патріотизмъ, — чистые предразсудки, но предразсудки удобные и необходимые для ихъ спокойствія и благосостоянія. Они бывають часто безукоризненно честны, приличны и даже справедливы, но только потому, что это наилучшія условія для пріятнаго общежитія, которыя глупо было бы нарушать. Но гдф можно, тамъ они такіе деспоты, распутники и эгонсты, какихъ еще міръ не создавалъ. И понятно что эти истинные нигилисты — великіе враги не только анархистовъ, но и всякаго, кто вздумаетъ тревожить ихъ совъсть серіозными требованіями.

Вотъ среди какой атмосферы возникъ Толстой. Полное отсутствие всякой религиозности, у лучшихъ--злоба, у худшихъ — гниль, и нигдѣ просвъта среди этого мрака. Казалось бы, ревнители въры должны были съ ужасомъ и сокрушеніемъ смотрёть на такой ходъ умовъ, продолжавшійся многіе годы и десятильтія, и Толстой долженъ быль ихъ обрадовать, какъ неожиданно появившаяся заря. Между тъмъ, если судить по многимъ ихъ рѣчамъ и заявленіямъ, можно подумать, что они равнодушно сносили тьму и хаосъ нашего образованнаго міра, и что эта поднявшаяся заря вызвала у нихъ только раздражение, а не сочувствіе. Они вооружились противъ Толстаго съ большимъ жаромъ, чъмъ когда-нибудь вооружались противъ самыхъ жестокихъ отрицателей и вольнодумцевъ. Они вовсе не замѣчаютъ, что, опровергая его, они большею частію противорфиать сами себф. Толстой сталъ проповедывать преданность воле Божіей, нестяжаніе, воздержаніе, непротивленіе; случалось, однако же, что даже иноки нисколько не радовались этой защить обътовъ, ими самими даваемыхъ и соблюдаемыхъ, а, напротивъ, находили туть преувеличение и даже клевету на мірскую жизнь.

Споры и нападенія, какъ борьба убѣжденій, какъ знакъ живой любви къ предмету, есть хорошее дѣло. Понятно, что духовныя лица, глубоко заинтересованныя ученіями вѣры и нравственности, съ такою ревностію выступили со своими сужденіями, когда вопросъ коснудся важнѣйшаго ихъ дѣла. Но очень жаль, что они не всегда ясно видять общее положение обстоятельствь, среди которыхъ действуютъ. Если бы Толстой принадлежаль какъ нибудь къ церковной іерархіи и вдругъ отступилъ отъ правильнаго ученія и старался увлечь своими толкованіями лицъ, принадлежащихъ къ храпителямъ этого ученія, то, конечно, туть была бы возможность вреда, противъ которой пужно бы было вооружиться. Если бы Толстой обратился къ простому народу съ проповъдью какихъ-нибудь новшествъ въ въръ, то нужно было бы тоже внимательно стоять на-сторожъ. Но въдь ни того, ни другаго сказать нельзя. Онъ:не принадлежить къ этимъ сферамъ, онъ не изъ нихъ вышель и не въ нихъ дѣйствуетъ. Онъ литераторъ, т. е. писатель такъ называемыхъ образованныхъ классовъ; онъ вышелъ изъ нашего свътскаго просвъщенія и дъйствуеть своими нисаніями въ той сферф, гдф имфетъ силу и значение свътская литература. Для духовныхъ лицъ онъ постороннее явленіе, сколько видно, не могущее производить на нихъ никакого действія; для простого народа его разсказы составляють только подтвержденіе в фрованій и понятій, въ которыхъ этоть народъ издавна растетъ. Но для литературы и литературной публики онъ есть нѣчто истинно новое, и тутъ происходитъ его вліяніе, удивительное по обширности и силъ.

Возьмите же теперь содержание и свойство этого вліянія, сообразите, до какой степени среда, гль это вліяніе дыйствуеть, была искажена и обезсилена въ умственномъ и нравственномъ отношеніи, какія чудовищныя извращенія душъ она порождала, какъ была чужда всякой религіозности, -- и вы увидите, что Толстой есть явленіе, на которое можно только дивиться и радоваться. Наше умственное движеніе, которому грозила жалкая участь все больше мельть и все шире расплываться мелкими потоками матеріализма и революціонаризма, вдругъ получило неожиданный повороть, давшій ему иное, глубокое теченіе, и истинно отрадный по тому духу, которымъ онъ внушенъ. Не только у насъ, но во всъхъ образованныхъ странахъ, запуганныхъ нашимъ нигилизмомъ, невольно обратилось внимание на этотъ поворотъ, н уже не съ чувствомъ страха и отвращенія, а съ чувствомъ любви и умиленія.

VIII.

Но какъ же это могло случиться? Не есть-ли вся эта исторія—пустое поверхностное волненіе, въ которомъ нѣтъ связи между движеніями, и они

несутся то въ ту, то въ другую сторону, смотря по прихоти вътра? Нътъ, самые размъры дъла уже такъ крупны, что нельзя думать подобнымъ образомъ. Всматриваясь въ различныя формы, которыя принимало и принимаетъ волнение нашей "интеллигенціи", мы увидимъ, что источникъ этихъ движеній всегда одинъ. Интеллигенція мечется потому, что она оторвана отъ почвы, что у нея нътъ твердыхъ опоръ для спокойнаго движенія по определеннымъ направленіямъ, и она постоянно ищеть этихъ опоръ, она гонится за ихъ призраками, и гонится искренно и горячо, жертвуя всѣмъ, ломая все, часто рискуя и своею, и чужою жизнью. Съ этой стороны, если взять эту существенную черту дёла, осудить нашу интеллигенпію невозможно. Что же ей делать, если, отбившись отъ своего народа и его въры, она повисла на воздухъ? Если просвъщеніе, почерпаемое съ Запада, не даетъ ей покоя и устойчиваго положенія, а приносить съ собою только тревогу и раздраженіе?

Русское племя—да, кажется, и всякое славянское—чрезвычайно расположено къ умствованію. Вопросы о Богѣ, мірѣ и человѣкѣ всегда находять себѣ у насъ ревностныхъ рѣшителей. Обыкновенно наше образованіе, а равно и научное подготовленіе, притупляеть, отбиваеть этоть вкусъ

къ общимъ философскимъ вопросамъ, но онъ часто обнаруживается у простыхъ людей, да пробивается и увсякихъ, какъ неизгладимый слѣдъ того религіознаго отношенія къ жизни, которое внушается христіанствомъ. Знать цѣль человѣка, знать смыслъ жизни—это желаніе въ насъ не угасаетъ, и вмѣстѣ не угасаетъ расположеніе ни передъ чѣмъ не остановиться, все бросить ради этой цѣли и этого смысла. Отсюда наша неустойчивость; надъ нами не имѣютъ прочной власти, не могутъ связать и поработить насъ никакія лишенія и блага, такъ какъ мы всегда пытаемся стать выше ихъ.

По сущности своей, это, безъ сомнѣнія,—прекрасное настроеніе, но оно тѣмъ онаснѣе и уродливѣе, когда бываетъ направлено въ дурную сторону. Таковъ былъ и есть нашъ нигилизмъ; радикальное излѣченіе отъ этого зла, очевидно, возможно лишь тогда, если мы самую силу, его порождающую, обратимъ въ добрую сторону. И это сдѣлалъ Толстой, и въ этомъ разгадка удивительнаго поворота умовъ.

Для поясненія сошлемся на замѣчанія, которыя недавно высказаль одинь ученый иностранець, взглянувшій на дѣло сь особой точки зрѣнія.

Французскій политико-экономъ Сенъ-Роменъ пишетъ, что у насъ, въ Россіи, молодые люди слишкомъ мало расположены "искать обезпеченной

и почтенной жизни въ какомъ-нибудь ремеслъ или искусствъ", что русскіе, вообще, "имъютъ ръзко проявляющійся вкусъ къ отвлеченностямъ и мечтаніямъ", и отъ этого вышло вотъ что: "Въ то время, когда міръ стремится по пути матеріальнаго прогресса, нашъ реформаторъ, графъ Л. Толстой, съ великольпною наивностью садится себъ на краю дороги и приглашаетъ проходящихъ присъсть около, покинуть промышленный трудъ и заняться самою простою, первобытною обработкой своего клочка земли. Понятно,"—восклицаетъ Сенъ-Роменъ,—"онъ останавливаетъ только тъхъ, у кого нътъ силь идти, хромыхъ да лънивыхъ. Кръпкіе проходять, даже не взглянувъ на него" *).

Воть какъ представляется эта исторія тому, кто смотрить на нее съ точки зрѣнія чисто земныхъ благь, "жизни міра", какъ выражается Л. Н. Толстой. Французскій ученый думаеть, что "обезпеченная и почтенная жизнь" есть благо, котораго каждый долженъ желать, что ради этого блага нужно отгонять отъ себя всякія "отвлеченности и мечтанія", и что молодые люди, одаренные свѣжими силами и жаждой дѣятельности, непремѣнно должны выходить на "путь матеріальнаго про-

[&]quot;) "Русск. Обозр". 1890, декабрь, стр. 892, 894, 896. (Статья Сенъ-Ромена Les réformateurs russes явилась въ La science sociale, 1890, t. X. 1. 3.)

гресса, по которому стремится міръ въ настоящее время.

Эти совъты, безъ сомнънія, благожелательны; но сейчасъ видно, что они берутъ дѣло не вполнъ, и потому не могутъ на всѣхъ подѣйствовать. Есть люди, которые ставятъ на первомъ мѣстѣ не то, чтобы жизнь ихъ была "обезпечена и почтенна", а то, чтобы она была самоотверженна или, по крайней мѣрѣ, совершенно чиста и справедлива. Точно такъ же, иные не находятъ ничего привлекательнаго въ томъ, чтобы идти по пути матеріальнаго прогресса и ему содѣйствовать, — напротивъ, готовы на труды и жертвы для прогресса нравственнаго. Осудить такихъ людей мы никакъ не можемъ, и нужно бы было даже считать великимъ горемъ, если бы они стали у насъ исчезать.

IX.

Удивительнаго въ наставленіяхъ Толстаго нѣтъ ничего. "Помилуйте!" — говорилъ намъ одинъ почтенный человѣкъ, сердившійся на упадовъ ума и творчества Толстаго: — "онъ пустился теперь въ ту самую мораль, которую знаетъ и можетъ проповѣдывать каждый пономарь!" Удивительно и истинно чудесно то, что эти наставленія подѣй-

ствовали, что эта "пономарская мораль" вдругъ обнаружила такую силу въ той средф, въкоторой прежде была встрѣчаема только скукою и презрѣніемъ. Уже съ давняго времени на нашу интеллигенцію не имѣли никакого дѣйстія ни простой народъ, ни духовныя лица. Народъ не могъ имъть дъйствія потому, что просвъщенные люди ставили себя далеко выше его и все мечтали только о томъ, чтобы просвътить и облагородить эту темную массу. Духовныя лица были безсильны потому, что ихъ мысли и рѣчи такъ же не входили въ общение, не сливались съ понятиями и взглядами нашего просвъщенія, какъ масло не сливается съ водою. Толстой сдёлаль нёчто, новидимому, невозможное: онъ добылъ изъ какой-то глубины живую воду, съ которою могутъ сливаться и наша обыкновенная вода, и наше обыкновенное масло. Если вспомнимъ, что онъ никогда прежде не былъ любимцемъ молодого поколѣнія и что онъ сталъ рѣзко противорѣчить самымъ распространеннымъ его стремленіямъ, то насъ поразить жизненность мысли, которая нашла себѣ отзывъ, не смотря на эти препятствія.

И странно было бы не радоваться этому дѣйствію. Огромное и благотворное значеніе дѣятельности Толстого иногда было признаваемо даже духовными писателями, т. е. тѣми, чьи сужденія

въ этомъ дёлё всего строже и неуступчиве Приведемъ нѣсколько словъ, сказанныхъ года четыре назадъ въ журналѣ Странникъ. Авторъ показываеть, что со времени освобожденія крестьянь умственное движение въ нашемъ обществъ, не смотря на свою порывистость и хаотичность, все же дълало успъхи, что въ обществъ есть намять извъстныхъ уроковъ, созръди нъкоторыя мысли, и потомъ говорить:

"Хотите-ли убъдиться въ этомъ наглядно? Вотъ вамъ новъйшій случай: стоило графу Л. Н Толстому выступить съ опытомъ, такъ сказать, духовной соціологіи, какъ и весь мірь за нимъ двинулся, - двинулась не только масса (мы можемъ утвердительно говорять объ этомъ), но двинулась и наша интеллигенція. И думаете-ли вы, что это одно изъ модныхъ, въ старомъ смыслъ, теченій, вызванныхъ къ жизни случайнымъ потокомъ времени и, къ тому же, усиленныхъ классическимъ именемъ самого писателя? Но это едва-ли такъ: имя, конечно, именемъ, какъ и талантъталантомъ, но есть туть остатокъ, который покроеть собою таланты и имя. Остатокы—вы томы, что Толстой не только наилучшимъ образомъ нояснилъ самую мысль 19 февраля, около которой бродило общество, опредёливъ эту мысль не въ моментв политическомь, что по существу легкомысленно и поверхностно, и за что, однако же, все время цёплялось общество, а въ смыслё соціальном, что неизмёримо глубже и достойнёе освободительнаго начала,—но и въ томъ, что этой же мысли онъ придалъ оттёнокъ духовный, оттёнокъ внутренній, нравственый, поставивъ вопрось о правды, о смыслё личной и общей жизни, о переустройствъ самаго общежитія... И въ этой мысли—успъхъ Толстаго, и здёсь же, если брать только одинъ моменть,—его безспорная заслуга предъ самимъ обществомъ".

Затѣмъ авторъ утверждаетъ, что обществу теперь "остается сдѣлать одинъ шагъ", чтобы "начать новый періодъ существованія", именно нужно "перейти къ другой мысли" и признать двѣ вещи:

- "1) что необходима *до конца* реформа его *поня- тій* (въ параллель великой внѣшней свободѣ) и
- "2) что реформу своихъ понятій оно можеть взять только въ началахъ христіанства и въ понятіи самой церкви" *).

Вотъ изложеніе смысла дѣятельности Толстаго, которое въ общихъ и главныхъ чертахъ, безъ сомивнія, совершенно вѣрно. Дѣйствительно, эта дѣятельность была не случайна, а составляетъ

^{*)} Странник, духовный журнать, 1886, декабрь, стр. 711, 712.

выходъ изъ того напряженнаго исканія и броженія, въ которомъ были умы; дѣйствительно, величайшая заслуга этой дѣятельности состоитъ въ ея духовномъ характерѣ, т. е. въ томъ, что она углубилась до самого корня дѣла, до вѣчныхъ началъ нашей жизни. Только этимъ объясняется ея усиѣхъ; измученныя души, страдавшія долгіе годы или нравственною пустотой, или незаживающею язвой враждебныхъ чувствъ, вдругъ нашли себѣ успокоеніе, и нигилистъ, начинявшій бомбы, съ радостью обратился въ исповѣдника непротивленія.

Если взять вліяніе Толстаго въ полномъ объемѣ этого вліянія, то нельзя не видѣть его добрыхъ слѣдствій, и едва ли можно отыскать какія-нибудь вредныя, хотя вредъ сопровождаетъ обыкновенно и наилушія изъ человѣческихъ дѣлъ. Благодаря Толстому, вездѣ, во всѣхъ слояхъ образованнаго общества поднялись вопросы нравственности и религіи, т. е. возникъ такой интересъ, который глубоко сналъ и, казалось, былъ погребенъ навѣки. Какъ этому не радоваться! Люди, для которыхъ церковная проповѣдь не имѣла никакого значенія, которые жили одними приличіями, выгодами и удовольствіями, или же только злобились, не находя для себя другихъ мыслей и другаго дѣла, кромѣ вражды къ окружающему ихъ строю

жизни, эти люди вдругъ почувствовали въ себъ пробуждение религиозныхъ идей, пробуждение совъсти, поняли, до какой степени они были неправы предъ своею душой и предъ ближними, — и это ихъ умиротворило, подняло, оживило.

И это не у насъ только, въ Россіи; — благотворное вліяніе нашего великаго писателя отзывается и у другихъ народовъ, въ странахъ давняго образованія. Вотъ что писалъ М. Вогю въ началѣ прошлаго года въ *Письмахъ о современномъ положеніи Франціи*:

"Среди высшей культуры, среди молодежи вполнъ образованной и сознательно относящейся къ самой себъ, перемъна въ настроеніи умовъ поразительна; ее можно резюмировать въ нѣсколькихъ словахъ: пробужденіе идеализма, доказанное вкусами и первыми произведеніями этой молодежи въ литератур'в, философіи и искусств'є; широкая терпимость и даже живая симпатія ко всёмъ формамъ религіозной идеи; серіозное исканіе смысла жизни, возрастающій интересь къ религіознымъ вопросамъ, большое равнодушіе и даже нѣкоторое презрѣніе къ чистой политикъ; безусловная потребность искренности въ отношении къ самому себъ и другимъ, а потому несомивниое отчуждение отъ революціонныхъ догматовъ и отъ условныхъ фразъ, которыми воть уже стольтие обольщають нашу страну". "Распространеніе русской литературы играеть значительную роль въ этомъ новомъ теченіи. Когда спрашивають у самыхъ выдающихся изъ этихъ молодыхъ людей, какая книга имъ больше всего по душѣ, многіе отвѣчаютъ: Война и миръ"*).

Вогюэ говорить здёсь вообще объ умственномь движеніи во Франціи и характеризуеть настроеніе избранной части молодежи, именно той, которая подаеть надежду духовнаго обновленія. Читатель легко увидить, какія изъ черть этого настроенія были поддержаны или даже возбуждены Толстымъ, котораго такъ хорошо истолковаль своимъ соотечественникамъ самъ же Вогюэ **).

Мы видимъ изъ этого, что французы радуются доброму вліянію Толстаго, и можемъ только желать, чтобы и у насъ усиливалось и распространялось это вліяніе.

X.

Нужно сказать хоть нёсколько словъ о томъ вредѣ, на который иногда жалуются, когда говорятъ о наставленіяхъ Толстаго. Въ сущности, если вникнемъ хорошенько въ дѣло, то окажется, что

^{*)} Русское Обозрпие. 1890, мартъ, стр. 387.

^{**)} См. Vogüé. Le roman russe, Par. 1886, стр. 279—340. Также мою внигу: Критическія статьи объ Н. С. Тургеневь и Л. Н. Толстомь, изд. 2, Спб. 1887, стр. 458—484.

это только обида для жалующихся, а никакъ не вредъ. Въ самомъ деле, какой же можетъ быть вредъ оть проповѣди безкорыстія, воздержанія и любви къ ближнему? Но последователи этой проповеди часто круго измѣняють свой образъ жизни, и въ этой-то перемене многіе видять большую беду. Иногда они описывають ее даже какъ-то трагически: "онъ начитался Толстаго, -говорять они, и разрушилъ свою жизнь!" Истинный смыслъ этой ръчн такой: ему предстояла прекрасная жизнь,та жизнь, которую мы сами ведемъ, -и онъ, безумный, отъ нея отказался. Онъ обижаетъ насъ, протестуя противъ этой жизни, показывая на деле, что будто бы человькъ не можетъ найти въ ней полнаго удовлетворенія; но онъ ділаетъ худо только себъ, потому что настоящее счастье можно найти только въ нашей жизни.

Да, конечно, мы недурно устроились; мы все приладили такъ, что безкорыстія у насъ нѣтъ и въ поминѣ, а напротивъ, каждый стремится захватить какъ можно большую долю всякой корысти, что вмѣсто воздержанія у насъ господствуетъ погоня за всевозможными наслажденіями, и что любовь къ ближнему вполнѣ замѣняется строгимъ полицейскимъ порядкомъ и благоустройствомъ. Но, живя такою жизнью, мы должны быть, по крайней мѣрѣ, снисходительны къ невиннымъ чудакамъ, которые не находятъ въ ней вкуса.

Л. Н. Толстой превосходно описаль намь нашу жизнь. Облонскіе, Вронскіе, Каренины—это цвѣтъ современнаго строя жизни, со встми его прелестями и бъдами. Мы зачитывались, не понимая, что читаемъ осуждение саминъ себъ. Кажется, что можеть быть дельнее Каренина, блистательнее Вронскаго, этихъ двухъ образчиковъ петербургскаго міра? Ихъ общественныя положенія принадлежать въ лучшимъ и высшимъ положеніямъ, составляють предметь желаній для многихь и многихъ. Но авторъ безпощадно разоблачилъ намъ образъ чувствъ и мыслей, который сложился въ этихъ людяхъ сообразно съ ихъ жизнью и занятіями, и мы почувствовали жалость и отвращеніе, или, по крайней мёрё, должны были почувствовать. Припомните описаніе иностраннаго принца, который мелькомъ является въ романъ и къ которому быль на несколько дней приставлень Вронскій. "Главная причина, почему принцъ былъ особенно тяжелъ Вронскому, была та, что очъ невольно видёль въ немъ самого себя. И то, что онъ видълъ въ этомъ зеркалъ, не льстило его самолюбію. "Глупая говядина! неужели я такой?" думалъ онъ" (Анна Каренина, ч. 4. въ началъ).

Между тѣмъ, душевный складъ Вронскаго имѣетъ еще не столько отталкивающихъ чертъ, какъ душевный складъ Каренина. Художникъ, вообще, изо-

182 толки

бразилъ весь этотъ міръ съ изумительною нравственною чуткостью. А насъ все пытаются увѣрить, что только въ этой жизни достигается истинное счастіе и человѣческое достоинство, и что кто отъ нея отказывается, тотъ "разрушаетъ свою жизнь!"

Самый важный доводъ, который выставляется противъ носледователей Толстаго, состоитъ въ томъ, что они покидають поприще, на которомъ могли бы принести пользу и удовольствіе обществу, и даже государству. Но въдь это - предположение очень сомнительное. Не върнъе ли предположить, что эти люди жили бы только въ свое удовольствіе, или же поступили бы въ толпу тъхъ безчисленныхъ конкуррентовъ, которыхъ главная цёль-добиться большого жалованнья и всякихъ отличій? Государство въ настоящее время, можно сказать, осаждено со всёхъ сторонъ все больше и больше нарастающими толпами искателей его денегъ и ранговъ. Между ними идетъ горячее соперничество и, по несчастію, у насъ ніть почти другихь поприщь, которыя отвлекали бы къ себв осаждающихъ. Какая же надобность усиливать собою ихъ число?

Очевидно, всё эти возраженія—однё отговорки. Главная причина, по которой раздражаются противъ Толстаго, состоитъ въ томъ, что онъ глубоко разошелся съ господствующими нравственными понятіями, что онъ противорёчить своему вёку въ самыхъ внутреннихъ вопросахъ, всегда наиболѣе дорогихъ человѣку. Вы невольно это почувствуете, если послушаете всѣ порицанія и крики
которымъ онъ подвергается во всемъ мірѣ. Странно
даже представить, что въ концѣ девятнадцатаго вѣка
нашлось столько враждующихъ, и горячо враждующихъ, противъ мирнаго писателя и мыслителя.
Кажется, мы давно уже привыкли къ самымъ неистовымъ вольнодумствамъ и спокойно ихъ терпимъ;
почему же мы вдругъ теряемъ всю нашу просвѣщенную терпимость и готовы почти воздвигнуть гоненіе на мысли и слова, выходящія изъ Ясной
Поляны?

Можно подумать, что это писатель еще небывалой оригинальности, проповёдующій что-то неслыханно - новое. Да, самобытности въ немъ не мало. Каждая строчка имёетъ у него странную свёжесть и новость, какъ будто такъ никто не говорилъ и не можетъ говорить, кромё него. Но слова его самыя обыкновенныя, и все содержаніе такъ просто, какъ ни у какого другаго писателя. Онъ часто описывалъ, какъ родятся и умираютъ люди, самые обыкновенные люди. Разсказывалъ также, какъ эти люди охотятся, поютъ, танцуютъ, скучаютъ на праздникахъ, косятъ сёно, ходятъ въ церковь, исповёдуются и т. д. Онъ разсказалъ недавно, какъ ревнивый мужъ убилъ жену,—случай

вовсе не рѣдкій и бывшій предметомъ безчисленныхъ разсказовъ во всѣхъ литературахъ. Но что бы онъ ни разсказывалъ, онъ на все бросаетъ такой яркій и чистый свѣтъ, что намъ кажется, будто мы въ первый разъ увидѣли и поняли самые обыкновенные предметы. Въ этомъ состоитъ самобытность этого художника.

Таковъ онъ и въ своихъ теперешнихъ нравоученіяхъ. Они удивительны по своей прямотъ, живости и искренности, такъ что съ большою силой пробуждаютъ любовь и пониманіе тъхъ глубокихъ душевныхъ потребностей, которыя влекутъ человъка "жить по Божье". И намъ иногда кажется, какъ будто мы въ первый разъ услышали эти требовація. Но вглядитесь, и вы увидите въ основаніи этой проповъди все ту же древнюю нравствецность, найдете черты христіанскихъ паставленій, которыя натвержены намъ съ дътства, но которыя были мертвы въ нашей душть и вдругъ воскресли и получили свъжесть и своеобразіе впервые сознанной истины.

1891, мартъ.

Отвѣтъ на письмо неизвѣстнаго.

Не запрещайте; ибо кто не противъ васъ, тотъ за васъ $\mathcal{A}y\kappa$. 9, 50.

По поводу Толковъ объ Л. Н. Толстомъ мною получено письмо, никакимъ именемъ не подписанное, но поразившее меня и глубокою искренностію тона и существенностію вопросовъ, которыхъ оно касается. Много нынче говорящихъ о благѣ Россіи, о ея назначеніи, объ ея нуждахъ и обязанностяхъ; неизвѣстный авторъ привель меня въ удивленіе тѣмъ, что заговорилъ о себѣ, о потребностяхъ своего ума и сердца, т. е. о томъ предметѣ, о которомъ прежде всего и больше всего долженъ думать каждый человѣкъ, и отъ котораго зависитъ все остальное. Такое настроеніе мыслей мнѣ сочувственно въ высшей степени; это пе «мѣдь звенящая и кимвалъ бряцающій», а голосъ, ъв которомъ отзывается душа говорящаго. Тѣмъ

болѣе мнѣ хотѣлось бы дать нѣкоторый отвѣтъ на строгое осужденіе моей статьи, произносимое этимъ голосомъ. Приведу здѣсь письмо неизвѣстнаго цѣликомъ, не выпуская ни слова, буду только прерывать его своими объясненіями.

«М. Г. Позвольте мнѣ, заурядному русскому «читателю, просто и откровенно высказать вамъ «свое впечатлѣніе отъ статьи вашей въ сентябрь-«ской книжкв Вопросовъ Философіи и Психологіи. «Прочитавъ этотъ восторженный папегирикъ Л. Н. «Толстому отъ нисателя, который всегда взвѣши-«ваетъ и цѣнитъ то, что говоритъ, которому нель-«зя не върить, я почувствоваль себя въ положе-«ніи человѣка, когда отнимають у него самое дра-«годфиное и святое его достояніе, безъ чего ему «трудно и представить свое существованіе. «Боже «мой, — невольно вырвалось у меня, — да что же «такое, наконецъ, есть истина? Гдѣ она? Зачѣмъ «существуеть въ языкъ это слово, когда понятіе, «имъ обозначаемое, есть нѣчто въ выстей степени «спорное и условное?»... Въ самомъ дълъ, до сего «времени мы, т. е. я, на ряду со всеми, думали, «в врили, что абсолютная истина находится въ «Православной Канолической Церкви, которая есть «единственная хранительница ея чистоты и не-«прикосновенности, и что, следовательно, тамъ и «слѣдуетъ искать удовлетворительныхъ отвѣтовъ

«на тревожные вопросы человъческаго духа. Ока«зывается, что нътъ; такая въра въ церковь есть
«результатъ стараго невъжества, духовной лъности
«и суевърія. Насъ настойчиво и соблазнительно
«приглашаютъ къ другимъ учителямъ, къ другимъ,
«просвъщеннъйшимъ авторитетамъ. За къмъ же
«идти, кого слушать—Толстаго или церковь, имъ
«отвергаемую и хулимую?»

Такова общая постановка дѣла, та мысль и то чувство, на основаніи которыхъ неизвѣстный осуждаетъ мою статью. «Гдѣ истина?» спрашиваетъ онъ, гдѣ «слѣдуетъ искать удовлетворительныхъ отвѣтовъ на тревожные вопросы человѣческаго духа?»—и упрекаетъ меня за то, что я будто бы приглашаю его покинуть авторитетъ церкви, составлявшій для него «самое драгоцѣнное и святое достояніе», и «настойчиво приглашаю» слѣдовать другому авторитету.

Понятно, съ какимъ чувствомъ произносятся столь важные упреки, а между тѣмъ моя статья ихъ вовсе не заслуживаетъ. Авторъ письма, очевидно, съ тревогою искалъ у меня отвѣта на вопросъ, который очень его занимаетъ, но котораго я вовсе не касаюсь. Именно, я ничуть не брался указывать, гдѣ истина; я ни слова пе говорилъ ни объ авторитетѣ церкви, ни объ отношеніяхъ Л. Н. Толстого къ этому авторитету; я не разби-

ралъ никакого положенія, никакого ученія и не предлагалъ слъдовать тому или другому.

Отъ всего подобнаго я воздержался именно потому, что вполнт понималь важность этихъ вопросовъ, зналъ, какъ трудно объ нихъ говорить, и вовсе не хотель ихъ касаться. Если искать въ моей стать в какого нибудь положительнаго указазанія, то можно увидеть разве одно, - что нужно следовать Христу; но и этого я прямо не говорю. Въ статъв моей нетъ никакихъ намековъ и подразумѣваній; цѣль и смыслъ ея совершенно просты и ясны. Мнъ хотълось отчетливо показать истинную серіозность, чрезвычайную глубину религіознаго стремленія у Л. Н. Толстого; я старался объяснить, что въ основъ этого стремленія лежать нравственныя требованія, что они присутствують во всемъ, что онъ писаль и делаль; я указываль на его горячія, неутомимыя исканія, на то, какъ эти исканія привели его къ Христу; наконецъ, я сопоставилъ это явленіе съ состояніемъ нашего общества, сбившагося со всѣхъ путей и страдающаго пустотою и правственными уродливостями, и заключилъ, что поворотъ умовъ, произведенный Л. Н. Толстымъ, имфетъ благотворное значеніе и действіе.

Таково содержаніе моей статьи. Если я туть что нибудь пропов'єдываль, то, кажется, пропов'є-

дывалъ то, противъ чего никто не можетъ возразить. Нравственная чуткость и серіозность, полная преданность требованіямъ совѣсти, исканіе истины всею душою, чтеніе и изученіе Писанія, пожертвованіе всякими низшими благами ради высшихъ,—вотъ чему я писалъ «панегирикъ», чему «настойчиво приглашалъ слѣдовать». Т.-е. я собственно хвалилъ не какое-нибудь «слѣдованіе», а лишь неустанную работу ума и совѣсти.

Авторъ письма замѣтилъ эту мою главную тему. Хотя сперва онъ приписалъ мнѣ вопросы, за которые я не брался, но вслѣдъ за приведенными словами онъ пишетъ:

«Говорять: ступайте въсамому источнику въры, «къ Евангелію, читайте и просвъщайтесь. Легко «сказать: «читайте и просвъщайтесь». Я очень хо- «рошо знаю просвътительную силу Слова Божія, «но знаю также и то, что умъ мой, сердце мое «загрязнены, нечисты, что въ нихъ, какъ въ не- «опрятныхъ сосудахъ, Слово Божіе легко можетъ чамутиться, отразиться въ ненастоящемъ своемъ «видъ и смыслъ. Зная это, я и спрашиваю, къ чкому же идти, —къ Толстому, или къ матери Церк- «ви? Л. Н. Толстой отрицаетъ Церковь, признаетъ члишь свою совъсть, свой личный разумъ мъри- «ломъ истины (это ли не раціонализмъ?), но слъ-

«опасно, да и нельзя, потому что я не върю ни «въ чистоту своей совъсти, ни въ непогръшимость «своего разума».

Вотъ постановка дѣла очень исная, внушенная, очевидно, сердечнымъ пониманіемъ самаго существа дѣла. Дѣйствительно, главнѣйшій, глубочайшій нашъ вопросъ есть сознаніе нечистоты нашей совѣсти и погрѣшимости нашего ума. Если въ насъ живо это сознаніе, то мы чувствуемъ настоятельную надобность въ помощи, въ руководствѣ. Отсюда понятно, какой существенной потребности удовлетворяетъ авторитетъ церкви, какъ хранительницы истины, почему этотъ авторитетъ можетъ быть названъ "самымъ драгоцѣннымъ и святымъ достояніемъ" человѣка.

Но на этихъ общихъ положеніяхъ нельзя же остановиться. На томъ основаніи, что совѣсть наша нечиста, а умъ погрѣшимъ, мы не должны и не можемъ вовсе отказываться отъ дѣйствія своей совѣсти и своего ума. Напротивъ, какъ скоро въ совѣсти и умѣ проснулось сознаніе ихъ недостаточности, они должны употреблять всѣ усилія довести это свое сознаніе до отчетливаго пониманія, а затѣмъ и бороться противъ этой недостаточности. Намъ слѣдуетъ не коснѣть въ чувствѣ своей слабости, а напротивъ, всѣми мѣрами возвышать чуткость нашей совѣсти и нашего разума. Только

въ такомъ случав мы будемъ усердно искать руководства и помощи, и только въ такомъ случав они могутъ быть намъ полезны. Хотя душа наша есть "загрязненный и неопрятный сосудъ", но мы ничего не можемъ воспринять иначе, какъ этимъ сосудомъ. Если мы не будемъ заботиться объ его очищении, то загрязнится и исказится самое чистое содержаніе, которое будетъ въ него влито.

Но, кажется, намъ нужно взглянуть на нашу бѣду еще съ другой стороны. Мы дурны и жалки не потому, что указанія нашей сов'єсти не всегда върны, и что умъ нашъ легко виадаетъ въ погрѣшность, а больше всего потому, что мы не слѣдуемъ самымъ яснымъ указаніямъ совъсти, и что мы не работаемъ своимъ умомъ. Совъсть и умъ, если не спятъ въ насъ совершенно, то почти всегда только дремлють, а не бодрствують. На качество нашей совъсти и нашего ума часто мы не въ правъ особенно жаловаться. Попробуйте спросить кого нибудь изъ насъ о его нравственныхъ понятіяхъ, и вы увидите, что почти всв мы недурно различаемъ добро отъ зла; нопробуйте испытать у насъ силу ума, и вы найдете многихъ, способныхъ ясно судить и понимать. Тутъ нътъ ничего удивительнаго: мы воспитаны въ христіанствѣ, мы растемъ на книгахъ, и съ дътства намъ доступны примъры и наставленія древних и новых мудрецовъ, мыслителей и великихъ писателей. И между тъмъ, мы остаемся слабыми и дурными людьми. Наша совъсть сознательно отступаетъ передъ малъйшимъ соблазномъ и подается передъ самымъ легкимъ давленіемъ. Нашъ умъ грѣшить больше всего не тъмъ, что ошибается, а тъмъ, что обращенъ на потъху нашего тщеславія, отворачивается отъ предметовъ важныхъ и глубокихъ, уклоняется отъ всякаго усилія, довольствуется словами и верхушками, не движется твердо, а только зыблется по вѣтру. Чрезвычайно рѣдко можно найти людей, которые искренно и усердно служать своей совъсти и своему уму, - и это соль земли, спасающіе насъ праведники. Не мало, конечно, такихъ, у которыхъ совъсть и умъ искажены, но первый признакъ этихъ людей тотъ, что они служатъ какимъ нибудь другимъ богамъ. Обыкновенное же явленіе то, что люди обладають и довольно чистою совъстью, и довольно свътлымъ умомъ, слъдовательно, вполнъ могли бы быть добрыми и правомыслящими, а между тъмъ не имъютъ ни истинной доброты, ни правильныхъ взглядовъ, и только развѣ иной близкій знакомый знаетъ, что въ дишъ они вовсе не безсовъстные и пустые люди. Недостатокъ серіозности въ душахъ-вотъ самое обыкновенное зло. Жизнь становится теперь все легче и легче, и, можеть быть, потому падаеть въ насъ душевная энергія, съуживаются и мельчають наши радости и горести, уменьшаются размфры всякаго напряженія. Вотъ въ какомъ отношени въ Л. Н. Толстомъ, мнѣ кажется, можно видъть великій и поучительный примѣръ; онъ образецъ истинной серіозности въ дълахъ ума и совъсти. Для него стали важнъйшимъ дъломъ жизни тъ "тревожные вопросы человъческаго духа", о которыхъ говоритъ авторъ письма и которые другихъ тревожатъ такъ слабо, что не имъютъ никакого значенія въ ихъ дъятельности. Вотъ чему я "настойчиво приглашаю следовать", если можно такъ истолковать чисто аналитическій тонъ моей статьи. Постоянная работа, неустанный трудъ ума и совъсти, - таково условіе, безъ котораго намъ будеть безполезна всякая помощь и руководство, и при которомъ мы непремънно выйдемъ на правильный путь. Раціонализма я не пропов'ядываль; напротивь, я сказалъ, что онъ невозможенъ. Но всегда нужно опасаться, какъ бы мы, отрицая безусловный раціонализмъ, не вздумали при этомъ отказываться оть своего ума и своей совъсти.

Письмо продолжается такъ:

"Я не вѣрю ни въ чистоту своей совѣсти, ни "въ непогрѣшимость своего разума. Положеніе, "какъ видите, было бы весьма серіозное и траги"ческое, если бы я имѣлъ несчастіе оторваться "отъ народа, какъ большинство нашей интелли"генціи. Вы указываете на народность идей графа "Толстаго, на чистый источникъ, откуда почери"нуто имъ его настоящее міросозерцаніе; но смѣю "увѣрить васъ, да вы и сами это знаете, что "между религіозными мнѣніями автора Исповиди "и Во чемо моя вира и нашимъ "народнымъ ду"хомъ" и народными идеалами—цѣлая непрохо"димая бездна".

Какъ видять читатели, здёсь противъ меня выставлены только голословныя утвержденія, а потому и отвѣчать я могу голословно. Статья моя настаивала на сходствъ воззръній Л. Н. Толстаго съ народными возэрвніями; авторъ письма настаиваетъ на ихъ различіи. Но въдь тутъ нътъ еще противоръчія, ибо великое различіе въ одномъ отношеніи не мішаеть великому сходству въ другомъ отношеніи. Различія я не скрываль; напротивъ, доказывалъ, что мы всѣ въ этомъ случаѣ не можемъ достигнуть полнаго тожества. Это нужно всегда помнить, а также и то, что, какъ скоро намъ открылось внутреннее глубокое сходство, всякія разницы уже не могуть имъть первостепеннаго значенія. Очевидно, туть все зависить отъ нашего взгляда на самое существо дѣла. Въ этомъ отношеніи, я уб'єдился, что у насъ господ-

ствують чрезвычайно смутныя и неправильныя понятія, и, къ великому сожальнію, почти вовсе нътъ попытокъ разъясненія и исправленія этихъ понятій, а существуеть въ избытк только вражда и пререканія. Почти нельзя говорить, потому что не на что опереться, нётъ въ умахъ ни одной вполнъ твердой и ясной точки. Приходится мнъ здёсь лишь голословно повторить, что, усердно и долго вникая въ эти вопросы, я не могу думать иначе, чемъ думаю, т. е., что есть величайшее и коренное сродство между народными воззрѣніями и настроеніемъ Л. Н. Толстаго. Эти слова, разумъется, немного значатъ, если не связать съ ними определеннаго значенія. Но, по неволю, вся моя статья наполнена подобными общими темами и указаніями, требующими подробнаго развитія. Мнѣ очень жаль, что авторъ письма остановился только на одной изъ этихъ темъ, и то лишь для того, чтобы голословно ее отрицать.

Письмо оканчивается слёдующимъ образомъ;

"Л. Н. Толстой—великій, сильный умъ, геніаль"ный художникъ (кто же когда это отрицаль?),
"но умъ, безспорно, заблуждающійся, а потому
"одно сантиментальное поклоненіе его таланту
"болѣе, чѣмъ неумѣстно,—оно преступно. Людямъ,
"для которыхъ истина дороже всякаго земного
"кумира, слѣдовало бы, вмѣсто куренія оиміама,

"отъ котораго Толстому и такъ нездоровится, не-"престанно ему указывать, что путь, на которомъ "онъ стоитъ и на который увлекаетъ другихъ,— "путь погибельный. Это было бы лучшимъ спосо-"бомъ выраженія къ нему любви и уваженія, какъ "къ великому русскому писателю и великому рус-"скому человѣку".

"Одинъ изъ смертныхъ".

Очевидно, это очень искренній патетическій тонь, и я не могу не сожальть, что возбудиль такое негодованіе. Но прошу пожальть и меня. Почему же не обращено вниманія ни на одно мое разсужденіе, ни на единую связь моихъ мыслей? Какъ писать, когда вся точность выраженій, вся строгость и сдержанность выводовъ исчезаетъ передъ глазами читателя, и онъ видитъ только «восторженный панегирикъ», «сантиментальное поклоненіе», «куреніе виміама»? Прошу извиненія; можетъ быть, въ моей стать очень слабы тъ качества, на которыя я указаль; но я очень старался достигнуть этихъ качествъ, и мнъ грустно, что и эти старанія остаются незамьченными.

Кто-то мнѣ сказалъ, что мои Толки есть только «адвокатская рѣчь». Пусть и такъ, но, надѣюсь, не въ смыслѣ всякой лжи и натяжекъ, какими ославили себя адвокаты, а лишь въ томъ смыслѣ,

что у меня берется только одна сторона дёла. Дѣйствительно, я пытался опредѣленно указать положительныя стороны явленія, которое всѣхъ занимаеть. Но вѣдь эти стороны—самыя важныя и для пониманія предмета, и для практическаго къ нему отношенія. Совершенно напрасно мы вѣчно спрашиваемъ объ одномъ: кому слъдовать? Требуется, напротивъ, знать, въ чемъ мы обязаны слѣдовать каждому, кому бы то ни было? Порицать Толстаго — дѣло почти вовсе безплодное; нужно, напротивъ, имъ пользоваться, нужно уловлять для себя огонь и свѣтъ, которыми передъ нами горитъ эта душа.

16 дек. 1891 г.



Справедливость, милосердіе и святость.

Теперь много говорять и пишуть о благотворительности, и вообще о нравственности. Это превосходно; совершился какой-то поворотъ умовъ въ эту сторону, и дай Богъ, чтобы онъ никогда не останавливался и не ослабъвалъ. Но еще лучше то, что люди теперь не только разсуждають о добръ, а и дълаютъ добро. Нельзя безъ радости подумать о безчисленныхъ благод вяніяхъ, поприщемъ которыхъ была въ нынѣшнюю зиму Россія. Мы знаемъ объ нихъ только очень смутно, очень отрывочно; но, какъ говорится, "въ воздухѣ носится" то чувство великодушія, тотъ порывъ любви къ ближнему, которому отдалось множество частныхъ людей и здёсь, и особенно тамъ, на местахъ бъдствія. Для душь, жаждавшихъ дъятельности, для сердецъ, томившихся житейскою тоскою, открылся прямой и свётлый выходъ, и они, жертвуя своимъ имуществомъ, временемъ и силами, почувствовали въ себѣ полноту жизни и просвѣтлѣли духомъ.

Среди этихъ отрадныхъ явленій показались, конечно, и разныя темныя черты. Одна изъ нихъ, по моему, очень печальная, есть та путаница понятій, которая замѣтна въ нынѣшнихъ безчисленныхъ толкахъ и спорахъ о нравственныхъ вопросахъ. Такъ какъ мы христіане, то, какъ бы мы ни блуждали нашими мыслями, какъ бы дурно ни жили, мы никогда не можемъ вовсе потерять чувство истиннаго идеала человъческой жизни. Но мы обыкновенно ничуть не заботимся о томъ, чтобы привести въ ясность свои понятія объ этомъ идеаль; и туть, какъ всегда, мы больше любимъ говорить и дійствовать, чімъ думать. Между темъ, если что не кренко у насъ въ уме, то не будетъ вполнъ кръпко и въ жизни; если мы не видимъ своихъ путей, то будемъ въчно съ нихъ сбиваться и понапрасну тратить силы; наконецъ, мы заводимъ ссоры и всякую злобу, если не умфемъ понимать того, что делають другіе.

I.

Три ступени.

Прежде всего нужно ясно и точно различать тѣ *ступени*, по которымъ мы можемъ и должны под-

ниматься къ нравственному совершенству. И въ нравственности, какъ и во всемъ на свътъ, нужно разбирать, что важнье и существенные, что ниже и что выше. Главныхъ ступеней въ нравственной дъятельности три: справедливость, милосердіе и святость. Это давно изв'ястно, объ этомъ безъ конца писано и думано, но мы постоянно успъваемъ забывать объ этомъ и выбираемъ себѣ правила по своимъ личнымъ вкусамъ. Во первыхъ, мы должны соблюдать во всёхъ нашихъ дёлахъ справедливость, т. е. никого не обманывать, никому не вредить, ничъмъ не нарушать чужихъ правъ и интересовъ, а всегда и вездъ отдавать каждому свое. Если кто неизмённо и твердо держится такого поведенія, то мы называемъ его честнымь челов комъ, на котораго можно положиться во всёхъ дёлахъ и отъ котораго нельзя ожидать никакого зла. Но это лишь первая ступень нравственной жизни. Совъсть больше или меньше подсказываеть каждому изъ насъ, что слёдуеть подыматься выше. Вторая ступень есть милосердіе, любовь къ ближнимъ. Мало того, чтобы никому не вредить, нужно всемъ помогать. Мало того, чтобы быть честнымъ, нужно быть добрымь. Когда человъкъ полюбитъ такое душевное настроеніе и такую діятельность, то онъ во всякомъ дълъ будетъ думать не о своей пользъ,

а о пользѣ другихъ, онъ захочетъ, наконецъ, всего себя, всю свою жизнь отдать на служение ближнимъ. Обыкновенно это и считаютъ высшимъ идеаломъ нравственности. Но есть еще ступень, и ступень несомнительная, открывающаяся яснъе или темнъе каждой христіанской душъ. Мало быть честнымъ, мало быть добрымъ, нужно быть чистымъ, нужно быть святымъ. Тутъ, и только туть-конець всякаго совершенствованія, тутьисполнение высокой заповъди: будьте совершенны, какъ Отецъ вашъ небесный. Побороть въ себъ грехъ, откинуть то безпокойство, тотъ стыдъ, то рабство и мученіе, въ которомъ мы живемъ, всю эту внутреннюю (а не одну внѣшнюю) бѣдственность нашей жизни--воть къ чему стремится тотъ, кто ищетъ святости, чему онъ учитъ честныхъ и добрыхъ дюдей и чёмъ укрепляетъ въ нихъ ихъ честность и доброту.

Но не будемъ забъгать впередъ. Сперва сдълаемъ замъчаніе, что эти три ступени суть ступени совершенно *твердыя*, т. е. такія, что на какой бы изъ нихъ человъкъ ни находился, онъ можетъ на ней спокойно жить и дъйствовать, хотя бы не былъ способенъ подняться на высшую ступень. Это значить, что каждая изъ нихъ имъетъ свой строгій принципъ, изъ котораго послъдовательно вытекаютъ правила, обнимающая всъ житейскія

отношенія. Такимъ образомъ, люди стоящіе на разныхъ ступеняхъ какъ будто смотрятъ на жизнь съ разныхъ точекъ зрѣнія, и отъ этого происходитъ, что не только большею частію они довольствуются своею ступенью и упорно стоятъ за нее, но даже начинаютъ враждовать съ тѣми, кто стоитъ на другихъ ступеняхъ.

II.

Справедливость.

Принципъ справедливости есть право. Постунать справедливо значить совершать только такія дъйствія, на которыя я имью право. А право я имъю дълать все, въ чемъ мое благо не противорвчить благу другихъ людей. Въ этихъ границахъ я свободенъ, и каждый имфетъ право на такую свободу. Это не значить, чтобы мы какъ нибудь уже раждались съ этими правами. Нётъ, очевидно, эти права-плодъ человъческаго разума, плодъ долгой исторіи. Теперь мы за каждымъ челов вкомъ признаемъ достоинство личности, признаемъ, такъ сказать, законность каждаго эгоизма, и требуемъ только, чтобы всё эгоизмы уравновёшивались, не мъшали другъ другу. Ибо таково самое простое и самое общее разрѣшеніе задачи мирнаго сожительства людей. А для того, чтобы

этоть порядокь соблюдался, мы устроили государство, котораго первая и неотложная обязанность есть именно огражденіе правъ каждаго лица, устраненіе всякой несправедливости. Конечно, государство можеть дъйствовать только внъшнимь образомь, только силою, а потому оно и ограничиваеть свои дъйствія лишь тъмь, что можеть быть вынуждено, то есть ограждаеть только наши внъшнія права и устраняеть только нашу внъшнюю несправедливость. Но все-таки, энергіи частныхь эгоизмовь открывается огромный просторь, и жизнь новыхь государствъ кипить съ такою силою, какой до сихъ поръ еще не видала исторія.

Напрасно, однако же, нѣкоторые мрачные люди думають, что только полиція мѣшаеть намъ грабить и убивать другъ друга, что общество держится въ порядкѣ только страхомъ насилія и наказанія. Напротивъ, юридическій порядокъ главнымъ образомъ сохраняется тѣмъ нравственнымъ началомъ, которое въ немъ есть. Намъ всегда пріятно думать, что своими дѣйствіями мы никого не обижаемъ, что мы въ правѣ поступать, какъ пуступаемъ. Мы сознательпо и заботливо избѣгаемъ всякой несправедливости, почему и выходитъ, что наши дѣла и сношенія почти исключительно основаны на одномъ взаимномъ довѣріи. Честность есть требованіе столь простое, понятное и легко

исполнимое, что мы очень стыдимся нарушать его, и чужая несправедливось возбуждаетъ въ насъ гораздо больше негодованія, чёмъ какой нибудь злобный или грёшный поступокъ. Поэтому, государство со своими юридическими формами есть истинная школа первоначальной нравственности— оно учитъ различать свое и чужое право. Поэтому, мы хорошо дёлаемъ, когда не только уважаемъ права другихъ, но и отстаиваемъ свое собственное право. Если мы отступаемся отъ него сознательно, приносимъ его въ жертву чему нибудь высшему, то, конечно, это недурно; но если пренебрегаемъ своимъ правомъ по одной лёни или слабости, то мы прямо вредимъ юридическому строю общества.

Свободно и легко мы двигаемся въ этомъ твердомъ строѣ; каждый живетъ какъ хочетъ и какъ
умѣетъ. Инымъ даже скучно становится отъ этой
легкости и свободы, и они ищутъ для себя какойнибудь лямки, какого-нибудь ярма, чтобы наполнитъ свою жизнь. Другіе распоряжаются собою
такъ усиленно и такъ дурно, что быстро истрачиваютъ свою жизнь и доходятъ до сумасшествія и
до самоубійства. Но во всякомъ случаѣ, едва ли
можно повѣрить, чтобы при другомъ порядкѣ, напримѣръ, при такомъ, о которомъ мечталъ Фурье,
а за нимъ Черныщевскій, получилось бы у людей
больше труда и удовольствія, чѣмъ теперь, когда

каждый съ утра до вечера только и думаеть, только и хлопочеть о своей выгодѣ и своей забавѣ.

III.

Милосердіе.

Между тъмъ, юридическій порядокъ, какъ всъ мы знаемъ, еще не ручается намъ за добрыя отношенія между людьми и не устраняеть злыхъ отношеній. Люди находять тысячи средствъ и путей, чтобы, оставаясь въ предёлахъ закона, дёлать зло другъ другу, обижать, угнетать, доводить до отчаянія и гибели. Вообще, каждая свободная сдёлка, каждый добровольный обмёнь, даже каждый разговоръ, можетъ быть или взаимною услугою, или же взаимною борьбою. А въ борьбъ слабый можеть пострадать отъ своей слабости, а сильный злоупотребить своею силою; воть отчего, понемногу и незамѣтно, безъ всякаго нарушенія права, слабые часто бываютъ совершенно задавлены, а сильные все растуть и растуть въ своей силъ. Законъ тутъ не можетъ ничему помочь, потому что онъ можеть только устранять всякую внъшнюю насильственность борьбы, но не можетъ предписать внутренняго согласія Законъ, вообще, не предписываетъ того, исполнение чего онъ не можетъ вынудить; слъдовательно, онъ не имъетъ никакой власти надъ нашими чувствами и нашими мыслями, а слѣдовательно, безсиленъ и относительно того зла и добра, которое зависить отъ нашихъ чувствъ и мыслей. Но въ самомъ внутреннемъ мірѣ человѣка, недоступномъ закону и насилію, есть другое начало, которому человѣкъ можетъ только свободно подчиняться и которое одно только способно уничтожать противорѣчія нашихъ правъ и обращать борьбу эгоизмовъ въ содѣйствіе и согласіе. Это начало—доброта сердца, милосердіе, любовь къ ближнимъ.

Легко видеть, что это действительно новая и особенная ступень нашей нравственности. Всъ истинно добрые люди, конечно, въ тоже время и честные люди; но не наобороть: многіе честные люди не бывають добрыми. Изъ этого различія выходять противорьчія, а изъ противорьчій даже противодъйствіе и вражда. Любящій ближняго часто не ценить и не соблюдаеть своихъ правъ, не прибъгаетъ къ юридическому принужденію, свое имущество считаетъ собственностью бъдныхъ, свои силы и труды тратить на другихъ безъ всякаго вознагражденія. Ибо любовь все терпитъ, все прощаетъ и своего не ищеть, какъ говорить апостолъ. Если бы всѣ были любящіе, то государственный строй потеряль бы свою главную надобность, и естественно, что любящие становятся рав-

нодушными къ этому строю. Для себя они, конечно, правы, но не для другихъ. Если бы благодъянія совершались только между любяшими другъ друга, то, действительно, всякія юридическія формы были бы лишнія. Но обыкновенно люди, преданные дёламъ любви, стоятъ на одной ступени нравственности, а тъ, кому они благотворять, на другой, низшей. Благотворитель дъйствуеть такъ, какъ будто нуждающіеся стоять съ нимъ наравић; но этимъ онъ часто успѣваетъ только сбить ихъ съ той твердой ступени, на которой они стояли. Извѣстно, что благодѣянія портять людей, дёлають изъ нихъ тунеядцевъ и попрошаекъ, къ великому огорченію благотворителей. Поэтому государство вынуждено даже ограничивать и регулировать практику благотвореній. Оно справедливо находить, что его собственный порядокъ кръпче, надежнъе, потому что больше соотвътствуетъ общему уровню человъческой нравственности.

Какъ бы то ни было, но нѣтъ сомнѣнія, что взаимная любовь, взаимное милосердіе, жизнь для другихъ, а не для себя есть единственное средство устранять всякое зло, возникающее отъ людскихъ отношеній и облегчать всякое страданіе, причиняемое намъ внѣшнею природою. Для земной жизни это идеалъ, не замѣнимый никакими дру-

гими идеалами. Многихъ онъ пленяетъ не какъ зрёлище нравственной красоты, а какъ картина возможнаго благополучія, и они ждуть въ грядущихъ въкахъ осуществленія такого земного рая, и считають долгомъ, чёмъ только могуть, содёйствовать его приближенію, хотять быть не просто добрыми людьми, а благод втелями челов вчества. Это прекрасныя намеренія, прекрасныя мечтанія, но странно, что не всегда замфчають недостижимость той последней цели, къ которой они направлены. Бъдственность человъческого существованія такова, что устранить ее ничто не можетъ. Мы всегда носимъ въ себъ внутренняго врага, наши желанія, которыя вёчно обновляются, постоянно не дають намъ уснокоиться и часто поглощають всю нашу душу. И у насъ есть внёшній врагъ, неодолимый и неизбѣжный—смерть. Если бы всѣ люди были проникнуты братскою любовью другъ къ другу, то страданія человъческія вфроятно не уменьшились бы, а увеличились. Теперь, когда мы живемъ эгоистами, чужія бъдствія и мученія для насъ ничего не значать, и мы спокойно смотримъ, какъ смерть вокругъ насъ "коситъ жатву жизни". Но, если бы мы чувствовали состраданіе къ несчастнымъ, если бы истинно любили умирающихъ, то насъ не должна бы была никогда оставлять печальная и горькая дума.

Слезы людскія, о слезы людскія,
Льетесь вы ранней и поздней порой,
Льетесь безвъстныя, льетесь незримыя,
Неистощимыя, неисчислимыя,
Льетесь, какъ льются струи дождевыя
Въ осень глухую порою ночной.

Это не гипербола сострадательнаго поэта, это чистая истина. А чёмъ можетъ быть утёшенъ человёкъ въ потерё близкихъ, дорогихъ людей? Эти утраты невознаградимы и неизгладимы. Тутъ можно прямо сказать, что кто больше любитъ, тотъ больше и страдаетъ. Между тёмъ, смерть не только не возвращаетъ тёхъ, кого взяла, но и грозитъ каждому изъ живущихъ съ нами. И слёдовательно, кто больше любитъ, тотъ подъ большимъ страхомъ и живетъ. Пушкинъ, вспоминая объ умершихъ друзьяхъ, говоритъ:

И смерти духъ средь насъ ходилъ И навначалъ свои закланья.

Этотъ "духъ смерти" ходитъ среди насъ постоянно, онъ непремѣнный гость всѣхъ нашихъ собраній, и пировъ, и похоронъ, и онъ не перестаетъ «назначать свои закланья». Если такъ, то когда же возможна для любящаго спокойная радость, даже если онъ забудетъ, что его самого ждетъ неизбѣжная болѣзнь и смерть?

IV.

Святость.

И такъ, любви къ людямъ еще недостаточно, ни для того, чтобы самому достигнуть покоя и свъта, ни для того, чтобы содъйствовать истинному благополучію другихъ. Нужно опять усилить наши требованія, пужно подняться на новую ступень нравственности. Святость именно въ томъ и состоить, что человькь становится выше своихъ желаній, своей природы, и выше смерти и всякаго страданія. Это полная чистота души и полная преданность волѣ Божіей. Когда у человъка нътъ своихъ желаній, нътъ заботы и страха, онъ смотритъ на все, какъ безплотный духъ, онъ стоить на точкъ зрънія вычности: тогда онь какь будто «вновь родится», и въ душъ его открываются источники лучшей жизни, вполнъ чистыхъ чувствъ и силъ. Болѣзнь, страданіе и смерть составляють для такого человька только поводь и побуждение подняться въ область святости, отожшиться отъ себя и отъ міра. Ищущіе святости часто съ радостію встрічають эти поводы, и даже ищуть всякихъ лишеній, чтобы воспитывать въ себъ духъ чистоты.

Животныя счастливъе насъ потому, что они

живутъ минутою, что для нихъ не существуетъ прошедшаго и будущаго, и если мы иногда радостно проводимъ нашу обыкновенную жизнь, то только потому, что очень способны забываться, терять изъ виду все, что впереди и позади текущаго дня. Но изнанка жизни безпрестанно раскрывается передъ нами и прерываетъ наши радости и забавы. Когда поэтъ уснѣваетъ

Ударить по сердцамъ съ невъдомою силой,

то онъ вѣдь только будить въ насъ то чувство бѣдственности и тоски, которое таится въ сердцѣ каждаго, и мы очень любимъ такихъ поэтовъ. Представимъ же, что мы вздумали вести себя съ полнымъ сознаніемъ, то есть истинио по человѣчески, не забывая прошлаго и не закрывая глазъ на будущее; тогда намъ останется только одинъ выходъ-—искать настроенія святости, смотрѣть на все съ точки зрѣнія вѣчности и говорить себѣ вмѣстѣ съ святою Терезой: «ничѣмъ не смущайся и ничего не бойся: все проходитъ, Богъ остается неизмѣннымъ».

Святость обыкновенно извъстна намъ только по слуху. Многіе вовсе не върять въ ея существованіе, считають ее невозможной, и самое исканіе святости признають чёмъ-то нельпымъ и вреднымъ. Въда туть въ томъ, что не только каждый,

по давнишнему замвчанію, бываеть доволень своимъ умомъ, но каждый вступается и за свои нравственныя понятія и обижается, когда ему покажуть, что тв правила, по которымь онъ живеть, не самыя лучшія. Въ этомъ отношеніи мы бываемъ очень наивны. Человъкъ, сотрудничающій въ журналахъ, или ежедневно ходящій въ лавку или въ департаментъ, бываетъ претвердо увъренъ, что онъ приносить пользу человъчеству, и что вполнъ стоитъ тъхъ денегъ, которыя получаетъ. Между тъмъ, это еще очень сомнительно; мы всъ пользуемся тъмъ порядкомъ, движеніемъ, осмысленнымъ складомъ отношеній, которые созданы не нами, усиліями не нашего ума и не нашей воли, и мы со своей стороны часто вносимъ сюда только безсмысліе и только портимъ діло. Если ужъ рѣчь пошла о благѣ человѣчества, то дай Богъ всякому быть увъреннымъ лишь въ томъ, что онъ былъ безвреденъ, что ничего не напортиль, не потребиль больше человъческихъ силь и трудовъ, чемъ сколько самъ принесъ. Монахъ, живущій подаяніемъ, отрекшійся отъ всякихъ общественныхъ связей и убъгающій въ пустыню, съ одной стороны, конечно, дерзокъ, заявляя себя прямо искателемъ святости, но, съ другой стороны, онъ скроменъ и можетъ, по крайней мфрф, навърно считать себя безвреднымъ.

Нигдъ понятія о святости не имъютъ такой твердости и ясности, какъ въ нашемъ простомъ народъ. У этого темнаго народа только одинъ этотъ свътъ и есть, за то такой свътъ, передъ которымъ ничто все наше просвъщение. Въ "Власти тьмы" есть несравненно-геніальная сцена, въ которой учителемъ святости является безобразнопьяный солдать Митричь. Онъ учить Никиту не бояться людей, и тогда тоть идеть каяться передъ всемъ народомъ и добровольно принять наказаніе. Если человъкъ не станетъ бояться людей, то онъ будетъ всегда и вездъ свободенъ и спокоенъ, потому что будетъ бояться только Бога, только своей совъсти. Тутъ удивительно показано, какъ высокій нравственный идеаль проникаеть собою все міросозерцаніе простыхъ людей и вдругъ, среди зла и тьмы, неотразимо действуеть на ихъ души.

И намъ слѣдовало бы также твердо хранить въ себѣ этотъ свѣтъ и постоянно къ нему обращаться. Дѣло въ томъ, что къ святости, какъ къ завершенію всякой нравственности, направляются всѣ тѣ дѣйствія, которыя можно назвать нравственными, и лишь она одна можетъ дать имъ вполнѣ этотъ смыслъ и характеръ. Наша честность и наша доброта очень мало значатъ, если онѣ не исполняются въ духѣ святости. Есть въдь честность отвратительная, основанная на томъ, что быть

честнымъ выгоднѣе, чѣмъ плутовать; есть и доброта негодная, основанная на себялюбивой мысли о томъ, какъ мы добродѣтельны. Нужно быть чистыми въ своей душѣ,—тогда мы дѣйствительно и непремѣнно станемъ нравственными въ своихъ дѣйствіяхъ.

3 апр. 1892.



Теорія благополучія.

Подводный камень, романъ М. В. Авдъева. Спб. 1863. Межъ двухъ огней, романъ въ трехъ частяхъ. М. В. Авдъева. Спб. 1869.

Магдалина, повъсть М. В. Авдьева. «Дъло» 1869 г. № 1.

Подробно анализировать произведенія г. Авдвева было бы двломъ небезполезнымъ и даже поучительнымъ, - хотя, конечно, по своему художественному достоинству, эти произведенія вовсе не имъютъ правъ на большое вниманіе. Г. Авдъевъ принадлежить къ числу подражателей, въ самомъ грубомъ смыслѣ этого слова. Онъ копируетъ чужіе пріемы, чужія мысли и настроенія; онъ не развиваетъ ихъ, не вдохновляется ими, а только подъ нихъ подделывается. Такъ сперва онъ подражалъ Лермонтову и въ своемъ "Тамаринъ" рабски скопировалъ "Героя нашего времени"; потомъ онъ сталь подражать Тургеневу въ своей манерѣ, а въ содержании сталъ копировать жоржъ-зандовскія и иныя мысли о правахъ любви вообще и женщинъ въ особенности. Къ этому последнему и наиболѣе славному періоду дѣятельности г. Авдѣева принадлежатъ три произведенія, заглавія которыхъ нами выписаны выше.

Интересъ, который имфютъ для критики подражанія этого рода, заключается главнымъ образомъ въ искаженіи, которому при этомъ подвергаются мысли и взгляды, составляющие предметь подражанія. Подражатели почти всегда портять дело своихъ образцовъ; они особенно жадно усвоиваютъ себъ ихъ слабыя стороны; они опошляють ту идею, которую берутся защищать; они низводять ее до ого уровня, на которомъ стоятъ сами. Поэтому: если мы хотимъ видъть пошлыя и слабыя стороны иден, то мы должны обратиться къ подражателямъ; видъть же эти стороны любопытно не только потому, что именно онъ прививаются къ массъ, именно онъ господствують въ большинствъ исповедниковъ идеи, но и потому, что оне обличають природу самой идеи. Малейшее зерно лжи, лежащее въ ндев, разрастается въ массв послвдователей цълымъ деревомъ заблужденій, и потому можетъ быть ясно указано и обозначено.

И такъ, мы не будемъ разбирать произведеній г. Авдѣева съ тѣхъ многообразныхъ точекъ зрѣнія, которыя допускаетъ разборъ истинпо-художественныхъ произведеній, дѣйствительно озаряющихъ намъ жизнь. Мы прямо возьмемъ тѣ идеи

подъ которыя г. Авдѣевъ поддѣлывается, и укажемъ тѣ искаженія этихъ идей, памятникъ и образецъ которыхъ составляють его произведенія. Натура писателя всегда беретъ свое, и, сколько онъ ни поддѣлывайся подъ высокія стремленія, скажется наконецъ во всей правдѣ.

Давно уже существуеть и проповъдуется тотъ односторонній взглядъ, по которому цель человека есть счастливая жизнь, а верховное правило деятельности есть способствование счастливой жизни людей, стремленіе къ благополучію рода человъческаго. Мивнія эти очень распространены, такъ какъ они составляють самое простое и наивное выраженіе той жажды къ наслажденію жизнью и того состраданія къ бъдствіямъ себъ подобныхъ, которыя свойственны всёмъ живымъ существамъ. Но противъ этихъ началъ всегда такъ или иначе протестовала человъческая природа. Человъкъ всегда стремился стать выше страданія и радости, выше того, что случайно могло быть ему дано, или отъ него взято. Люди всю жизнь свою страдавшіе, и слёдовательно, по теоріи благополучія, не достигшіе цёли человёческой жизни, составляютъ, однако, въ многихъ случаяхъ предметъ нашего глубокаго уваженія и удивленія. Напротивъ, счастливыхъ мы мало любимъ и почитаемъ. Человъкъ благополучно прожившій всю свою жизнь-часто

до конца остается ребенкомъ, существомъ легкомысленнымъ и невѣдающимъ истинной цѣны жизни. Только въ несчастіяхъ испытывается и образуется воля, развивается серіозная мысль, созрѣваетъ настоящее благородство характера. Однимъ словомъ—быть человъкомъ, вотъ главная цѣль жизни; страданія скорѣе способствуютъ, чѣмъ мѣшаютъ достиженію этой цѣли; напротивъ, благополучіе очень часто бываетъ для нея помѣхою.

Очень любопытны въ отношеніи къ предмету, о которомъ мы заговорили, разсужденія Джона Стюарта Милля, находящіяся въ концѣ его *Лошки*. По всему складу своего ума онъ необходимо долженъ былъ держаться теоріи благополучія и высказалъ это совершенно прямо и ясно.

"Не пытаясь" — говорить онь — "въ этомъ мъсть оправдать мое мнъніе, или даже опредълить допускаемый имъ способъ оправданія, я просто заявляю свое убъжденіе, что общій принципъ, съ которымъ должны бы были сообразоваться всть правила практики, и повърка, которую они должны бы выдерживать, есть принципъ способствованія счастью человъчества, или, скоръе, всъхъ чувствующихъ существъ".

Тотчасъ же, однако, ему представилось возраженіе, указывающее, что его принципъ не обнимаетъ всей сферы нравственной дѣятельности.

"Есть"—замѣчаетъ онъ— "многія добродѣтельныя дѣйствія и даже добродѣтельные образы дѣйствій, которые въ частномъ случаѣ жертвуютъ счастіемъ, такъ какъ они производятъ болѣе страданія, чѣмъ удовольствія".

Слѣдовательно, необходимъ другой принципъ, совершенно отличный отъ принципа благополучія. Со всею искренностію добросовѣстнаго мыслителя, Милль указаль этотъ другой принципъ, такъ громко говорящій въ человѣческомъ сердцѣ, что его не можетъ заглушить никакая теорія.

"Я вполнѣ допускаю" — говоритъ Милль — "справедливость слѣдующаго: что воспитаніе въ себъ идеальнаго благородства воли и поступковъ должно быть для индивидуальныхъ человѣческихъ существъ цѣлью, которой должно уступать, въ случаѣ столкновенія, исканіе или ихъ собственнаго счастія, или счастія другихъ" *).

И такъ, душевное благородство—вотъ высшая цѣль человѣческой жизни, такая цѣль, что, если достиженію ея способствуютъ даже страданія, какъ это извѣстно изъ опыта, то и страданія должны быть благословляемы.

Милль, впрочемъ, мечтаетъ далѣе о соглашении обоихъ принциповъ, о томъ, что будто бы ду-

^{*)} Спетема логики, т. П. Спб. 1867 г., стр. 536, 537.

шевное благородство есть лучшее средство способствовать благополучію человічества. Но, какъ только єдівлано различіе принциповъ, какъ только сказано, что одинь изъ нихъ долженъ всегда уступать другому, то ясно, что верховный принципъ иміветь цівну независимо отъ принципа подчиненнаго. Весь вопросъ въ томъ и заключается, чтобы найти главную цівль жизни, найти, то, что едино есть на потребу. Если же мы стапемъ смотрівть на душевное благородство, только какъ на средство, то явится возможность въ частныхъ случаяхъ прибівтать ради общаго блага къ другимъ средствамъ, отступающимъ отъ благородства, и мы придемъ къ знаменитому правилу, что иплаоправдываеть средства.

Правило это не изъ чего инаго и вытекло, какъ изъ предположенія, что общее благо можетъ быть верховной цѣлью для индивидуальнаго человѣка, главнымъ принципомъ, которому все остальное должно быть подчинено.

Мы не будемъ больше останавливаться на общихъ началахъ, а перейдемъ къ приложенію теоріи благополучія. Въ этомъ приложеніи, въ примѣненіи ея къ частнымъ вопросамъ, всего яснѣе обнаружится ея природа.

Какъ достигнуть общаго блага? Какъ сдёлать жизнь человъческую счастливою и благополучною?

Первая мысль, которая должна бы, кажется, прійти въ голову людямъ, предлагающимъ себъ эту задачу, заключается въ томъ, что задача невозможная. Жизнь человъческая, по самой сущности дъла, заключаетъ не однъ радости, но и страданія, совершенно пропорціональныя этимъ радостямъ. Какъ высоко-чувствительный организмъ, человъкъ способенъ испытывать и великія наслажденія, и мученія, неуступающія въ силѣ на слажденіямъ. Природа столь же мало щадить человѣка, какъ и другихъ животныхъ, и посылаетъ на него бользнь, голодъ, потопъ, землетрясение. Каждый шагъ человъка окруженъ физическими опасностями, которыхъ никто предотвратить и предвидъть не можетъ. И наконецъ, впереди человъка, какъ-бы благополучно онъ ни жилъ, всегда одна и таже перспектива — упадокъ силъ, болъзнь и смерть.

Затёмъ слёдуютъ бёдствія и страданія, которыя человёкъ испытываетъ приходя въ соприкосновеніе съ себё подобными. Во-первыхъ, люди бьютъ и рёжутъ другъ друга, у нихъ въ обычай война, и трудно думать, чтобы этотъ обычай прекратился, такъ какъ вёроятно у людей никогда не пропадетъ охота жертвовать своею жизнью въ защиту дорогаго имъ дёла. Но и другія столкновенія однихъ людей съ другими не обходятся безъ

страданій. Будеть-ли это свободная борьба, или же правильный порядокъ, -- и то и другое можетъ весьма тяжело отразиться на индивидуальномъ человекь. Въ борьбе-напримеръ экономическойчеловъкъ можетъ быть задавленъ вследствіе тысячи случайностей и неблагопріятных обстоятельствь. Точно также, и всякій порядокъ, всякая правильная связь между людьми, по сущности дёла, стёсняеть и связываеть отдёльныя личности и, слёдовательно, въ частныхъ случаяхъ можетъ быть источникомъ великихъ страданій. Каковъ бы ни быль строй общества, онъ всегда будетъ препятствіемъ, о которое можетъ разбиться частная воля, такъ точно, какъ незыблемые законы міра физическаго безпрестанно бываютъ причиною гибели отдъльныхъ организмовъ.

Наконецъ, человѣку свойственны еще *правственныя страданія*, больше всѣхъ другихъ не дающія ему отдыха и тѣмъ болѣе сильныя, чѣмъ выше его нравственное развитіе. Человѣкъ постоянно волнуется желаніями, воспоминаніями, надеждами. Онъ не можетъ отдѣлаться отъ своего прошедшаго, не можетъ не тревожиться о будущемъ, не можетъ довольствоваться настоящимъ. Возможность страданій заключается уже въ томъ, что каждый человѣкъ развивается лишь постепенно, слѣдовательно долго не вполнѣ понимаетъ себя и

другихъ. "Грѣхи юности" вошли въ пословицу, и рѣдкій человѣкъ не желалъ бы измѣнить свое прошлое. Самая способность желать и привязываться, отъ силы которой зависитъ размѣръ человѣческаго счастія, неизоѣжно содержитъ возможность страданій, пропорціопальныхъ развитію этой способности. Кто сильно любитъ, тотъ испытываетъ и сильныя мученія отъ потери любимаго предмета; кто сильно желаетъ, тотъ и сильно страдаетъ отъ недостиженія предмета своихъ желаній. Чтобы быть спокойнымъ въ жизни есть только одно средство — быть ко всему равподушнымъ.

Мы мелькомъ и бѣгомъ касаемся здѣсь темы обширной и общензвѣстной; человѣческія страданія давно извѣстны людямъ и подробно распрыты въ безчисленныхъ книгахъ, начиная отъ Библін до Шекспира и всевозмежныхъ философовъ и поэтовъ. При этомъ мы вовсе не говоримъ о тѣхъ страданіяхъ, которыя производятся всякаго рода злыми и порочными свойствами людей; нѣтъ, мы котѣли указатъ только на тѣ страданія, которыя прямо и естественно вытекаютъ изъ самой ограниченности человѣческаго существа: человѣкъ ограниченъ во времени и въ пространствѣ; силы его имѣютъ извѣстные предѣлы; и опъ, и все. чтò до него касается, подвержено случайностямъ; жилы

226 теорія

человѣка есть явленіе непрочное, непрерывно измѣняющееся, преходящее. Какъ-же мечтать о счастіи, когда каждое изъ этихъ ограниченій чувствуется человѣкомъ какъ страданіе?

Наша мысль будеть яснѣе, если мы посмотримъ, чего добиваются послѣдователи теоріи благополучія. Если мы увидимъ, что они пришли къ нелѣпостямъ, то намъ будетъ ясно, что они задались невозможною цѣлью.

Но прежде сдѣлаемъ оговорку. Надѣемся, что читатели не подумають, будто мы вооружаемся противъ обязанности любить людей и помогать имъ всёми силами. Любовь къ людямъ-дёло прекрасное и святое, но мы здёсь вовсе не о ней говоримъ. Если мив скажуть: люби людей, помогай имъ, то я конечно не буду въ правъ отвъчать: не могу. Нътъ, это дъло возможное и отъ меня самого зависящее. Но если мнъ скажутъ: сдплай людей счастливыми, то я буду совершенно правъ, если отвъчу: не могу и не берусь; я готовъ любить ихъ, готовъ всячески облегчать ихъ страданія и способствовать ихъ благополучію, по не могу ручаться, что сдёлаю ихъ счастливыми; я не знаю, возможенъ ли такой результатъ, или даже наоборотъ, я знаю, что онъ невозможенъ. Въ первомъ случав цъль и заповъдь есть любовь, дъло можетъ быть и не очень легкое, но возможное; въ другомъ случав

цѣль и заповѣдь есть счастіе, —дѣло не только трудное, но и вовсе невозможное. И такъ, послѣдователи теоріп благополучія отличаются отъ простыхъ послѣдователей Христа не тѣмъ, что они одни преданы любви къ людямъ и заботятся о благѣ человѣчества, а тѣмъ, что они увѣрены въ возможности счастія человѣчества, что они ручаются за это счастіе и знаютъ будто бы пути, которыми оно можетъ быть и непремѣнно должно быть достигнуто. Посмотримъ же, каковы эти пути.

Что касается до физическихъ источниковъ страданій, то неизб'єжность ихъ слишкомъ ясна, и потому ихъ не отрицаютъ, но зато и не удостоивають надлежащаго вниманія, какь такой вопрось, гдѣ много умствовать невозможно. Обыкновенно возлагаются большія надежды на медицину; предполагають, что эта наука современемь откроеть средства пресъкать и предъупреждать всъ бользни, какими страдають люди. Но, если бы даже это было вполнъ возможно, то останется еще многое, о чемъ и мечтать непозволительно. Нельзя сдълать человъческое тъло такимъ крънкимъ, чтобы оно не разбивалось въ случав паденія, не горвло отъ огня, не страдало отъ случайной порчи или случайнаго недостатка воздуха, пищи, воды, теплоты. Опасности всегда будутъ грозить гибелью человъку, и, наконецъ, одни алхимики могли мечтать объ избѣжаніи смерти, которая непремѣнно иаступить, какъ бы мы себя ни сберегали.

Если затёмъ мы перейдемъ къ страданіямъ человъка въ обществъ, то тутъ открывается уже больше простора для борьбы, больше возможности устранять зло. Многіе думають, что общественное зло можеть быть вовсе уничтожено, что возможно общество, въ которомъ люди ни мало не стъсняли бы другь друга, -- задача, которая не кажется трудною и невозможною только потому, что людей считають существами, способными вполнъ управлять своими действіями и строго подчинять ихъ заранте составленнымъ правиламъ. Едва ли, однако же, люди сами себя знають и могуть располагать своею природою. Путь отдёльнаго человека среди другихъ людей всегда будетъ обставленъ препятствіями и опасностями, по той простой причинъ, что никто не знаетъ мъры своихъ силъ, что назначение каждаго не только не можетъ быть върно опредълено другими, но неясно и для него самого.

Главная задача, о которой хлоночуть поклонпики благополучія, повидимому, проще и нагляднѣе всѣхъ другихъ,—именно состоить въ устранепіи страданій бѣдности и нищеты. Мы не будемъ разсматривать здѣсь попытокъ вполнѣ достигнуть этой весьма желательной цѣли; замѣтимъ только, что главная трудность здёсь заключается, кажется, въ невозможности устранить изъ дёла нравственный элементъ. Если бы матеріальное благосостояніе было главною цёлью людей, они навёрное давно бы его достигли; но люди всегда расположены пренебрегать своими матеріальными нуждами, рисковать своимъ здоровьемъ, имуществомъ и даже жизнью — изъ за какихъ нибудь другихъ цёлей, имѣющихъ для нихъ большую привлекательность, чёмъ матеріальное довольство.

Перейдемъ прямо къ предмету нашей статьи къ нравственнымъ страданіямъ. Въ этой сферѣ, какъ намъ кажется, вопросъ получаетъ наибольшую ясность. Притомъ, мы должны будемъ ограничиться случаями въ высшей степени опредѣленными. Собственно, намъ слѣдуетъ говорить только о любви между мужчинами и женщинами, такъ какъ именно этому предмету посвящены разбираемыя нами сочиненія г. Авдѣева. Попробуемъ сперва взять вопросъ въ самыхъ общихъ чертахъ.

Половыя отношенія представляють самое многостороннее явленіе человѣческой жизни. По своей животной сторонѣ они могуть быть отнесены къ физическимъ потребностямъ, а по нравственному смыслу, который вносится въ нихъ человѣкомъ, они принадлежать къ самой высокой сферѣ душевной жизни. И чѣмъ сложнѣе и многостороннѣе это явленіе, тѣмъ сложнѣе и многостороннѣе страданія, которыхъ оно можетъ быть источникомъ. Если человѣчество страдаетъ отъ такой простой потребности, какъ потребность пищи и питья, если нельзя отвратить всѣхъ случаевъ, когда эта потребность не удовлетворяется, то во сколько разъ больше бѣдъ должно порождать стремленіе, которое по своей высотѣ и сложности почти никогда не достигаетъ совершеннаго выполненія?

Чувства, возникающія между мужчиною и женщиною, начинаясь съ животнаго влеченія, могуть доходить до удивительной высоты и силы. Въ разной степени, но у всёхъ есть возможность этихъ чувствъ, и всякій желалъ бы жить этими чувствами. Каждому мужчинё желалось бы горячо полюбить женщину, встрётить съ ея стороны отвётную любовь, имёть возможность назвать ее своею женой, сохранить эту связь крёнкою, пенарушимою, имёть дётей, пережить всё измёненія взаимнаго чувства, начиная отъ перваго пыла страсти до той глубокой нёжности, которая соединяеть старыхъ супруговъ.

Вотъ идеалъ отношеній между мужчиною и женщиною. Спрашивается, многимъ ли онъ доступенъ, многими ли достигается? А между тѣмъ, каждое уклоненіе отъ этого идеала имѣетъ неизбѣжнымъ слѣдствіемъ—страданіе. Ибо человѣкъ

не животное, и отъ несбывшихся надеждъ также страдаетъ, какъ и отъ лишеній настоящей минуты.

Какъ мы сказали, человъкъ есть существо ограниченное, а потому неизбѣжно подверженъ случаямъ невыполненія своихъ желаній. Если бы для исканія любви и семейнаго счастія намъ было дано неопределенное время, то можно бы еще предполагать, что каждый найдеть его рано или ноздно. Но и дни и силы человъка измърены. Нельзя воротить молодости, нельзя предотвратить старости. Мужчина или женщина, сдёлавшіе одну двъ неудачныя попытки устроить себъ брачныя отношенія, обыкновенно тратять на нихъ столько времени, свѣжести, чувствъ и силъ, что потомъ уже становятся невозможны новыя понытки. Въ сущности, эти случаи нохожи на случаи искалъченія, певозвратной и незамінимой потери какой нибудь части организма. Если вы потеряли руку или глазъ, -то уже дело кончено, и беды ничемъ ноправить нельзя. Такъ точно, если у васъ потеряна молодость, если неудачна была ваша первая глубокая любовь, -- жизнь ваша (въ этомъ отношеніи) испорчена и ничёмъ быть поправлена не можетъ.

Посмотримъ теперь, что же говорятъ проповѣдники человѣческаго благополучія. Случай, на который написаны три произведенія г. Авдѣева (и на которомъ точно также основанъ романъ "*Что дълать*") представляетъ одно изъ самыхъ ясныхъ и простыхъ человѣческихъ несчастій, а именно: жена измъняетъ мужу.

Варіяціи на эту тему сдёланы г. Авдёевымъ слёдующія:

Въ «Подводномъ камиѣ» жена любитъ мужа, но встръчается съ мужчиною болѣе молодымъ и красивымъ, охладѣваетъ къ мужу и влюбляется въ юношу.

Въ «Межъ двухъ огней» жена равнодушна къ мужу и, встрътившись съ красивымъ юношей, отдается ему.

Въ «Магдалинъ» жена любитъ мужа и не перестаетъ его любить, но отдается другому мужчинъ потому, что мужъ уъзжаетъ на долгое время. Когда мужъ возвращается, жена прогоняетъ любовника и продолжаетъ любитъ мужа по прежнему

Таковы эти исторіи, въ завязкѣ которыхъ, какъ читатель видитъ, нѣтъ ничего необыкновеннаго, кромѣ развѣ необыкновенной пошлости послѣдней исторіи. Но новое и необыкновенное заключается въ развязкѣ этихъ событій, не въ томъ, какъ ведутъ себя жоны, а въ томъ, какъ ноступаютъ при этомъ мужья.

Мужъ въ «Подводномъ камнъ» отпускаетъ отъ

себя жену съ любовникомъ; когда же любовникъ охладълъ къ героинъ, и она возвращается домой, мужъ принимаетъ ее, и они снова наслаждаются семейнымъ счастіемъ.

Мужъ въ «Межъ двухъ огней» приглашаетъ любовника своей жены жить къ себѣ въ домъ; когда жена, вслѣдствіе связи, приходитъ въ интересное положеніе, мужъ обѣщаетъ ей усыновить ребенка. Любовникъ бросаетъ жену, какъ и въ первомъ разсказѣ; у жены является новый обожатель; но на этомъ интересномъ мѣстѣ авторъ задергиваетъ занавѣсъ. Нѣтъ сомнѣнія, однако же, что мужъ и впередъ не будетъ обижать жены, и подъ конецъ, вѣроятно, заживетъ съ нею по прежнему.

Наконецъ, въ «Магдалинѣ» мужъ, ничего незнавшій и уже наслаждавшійся, по возвращеніи, семейнымъ счастіємъ, узнаетъ о прошломъ и сначала сердится. Онъ не обижаетъ жены, но разрываетъ съ нею брачныя отношенія. Когда же та отъ горя умираетъ, мужъ сознаетъ свою ошибку и раскаявается. Онъ чтитъ намять своей жены и нѣжно любитъ ребенка, о которомъ не знаетъ достовѣрно, отъ кого онъ родился.

Именно въ поведеніи мужей и заключается наставительность разсказовъ г. Авд'єва; первые два мужа выставлены, какъ образцы гуманныхъ людей, ведущихъ себя сообразно съ просвъщенными идеями; послъдній мужъ выставленъ человъкомъ пустымъ, исполненнымъ предразсудковъ, отъ чего онъ и впадаетъ въ грубый промахъ, и только на горькомъ опытъ убъждается, что поступилъ дурно.

И такъ, г. Авдѣевъ научаетъ насъ, что измѣна жены вовсе не есть неисправимое бѣдствіе,—что стоитъ только быть гуманнымъ и чуждымъ предразсудковъ, чтобы все обошлось благополучно, и чтобы никто не пострадалъ. Неправда ли, что интересна та мудрость, которая можетъ привести къ такимъ блистательнымъ результатамъ? Попробуемъ изложить главныя основанія этой мудрости.

Существенный принципь заключается въ томъ, что любовь между мужчиной и женщиной есть величайшее благо, лучшее наслажденіе, какое можеть представить жизнь. "Что за жизнь безъ любви?" говоритъ Камышлинцевъ, герой романа "Межъ двухъ огней"; "вѣдь это произрастаніе! Да еще и произрастаніе-то безъ цвѣта, безъ аромата Какъ же можно отказывать себъ въ этомъ чуветью, которымъ однимъ только и красна жизнь! Вѣдь это.... половина самоубійства, это самоискалѣченье!" ("Между двухъ огней", стр. 77).

И такъ, прямой выводъ, къ которому послѣдовательно приходитъ теорія благополучія, будетъ тоть, что не должно отказываться от счастія любви. Гдё бы и какъ бы ни явилась любовь, она нийеть право на существованіе, ибо въ ней достигается цёль жизни—счастіе. Мёшать любви—значить мёшать людямь достигать этой цёли.

Но какъ же является любовь? Какъ получается и сохраняется это великое благо? На это намъ отвъчають, что любовь есть явленіе случайное, прихотливое, ни мало не зависящее отъ воли и усилій человъка, который испытываеть это чувство. Наши чувства отъ насъ не зависять—вотъ аксіома этой школы. Въ "Подводномъ камнъ" Соковлинъ, выслушавъ признаніе въ любви отъ своей невъсты, говорить ей:

"Во миѣ есть убѣжденіе, твердое, неизмѣнное, что иувства не зависять от нась. Я вѣрю, что они могуть не измѣняться, но могуть и измѣниться — все дъло случая и обстоятельствь, какъ болтзнь... Дайте миѣ слово, что если когда нибудь... хоть завтра... хоть на другой день свадьбы... если эти чувства измѣнятся... если вы увидите, что отибались въ нихъ, или во миѣ, что я не стою ихъ, или другой лучтій заставить ихъ измѣниться... тогда вы миѣ прямо, какъ другу, какъ брату, скажете объ этомъ". ("Подводный камень", стр. 142).

Влюбленная дёвушка обижается такими рё-

чами, но потомъ оказывается, что ея опытный женихъ былъ совершенно правъ въ своихъ предположеніяхъ.

Итакъ въ любви все — дѣло случая и обстоятельствъ; она не подводится ни подъ какія правила и можетъ внезапно изчезнуть, завтра, или на другой день свадъбы.

Часто ли, однако же, являются подобныя неогразимыя чувства и ничёмъ непредотвратимыя перемёны? Составляють ли они исключеніе, или общее правило? Если вёрить г. Авдёеву, то эта слёпая, неудержимая страсть любви господствуеть надъ всёми смертными, и перемёны въ ней случаются безпрерывно.

"Когда Камышлинцевъ (молодой холостякъ) и Мытищева (молодая замужняя женщина) остались вмъстъ, они почувствовали", разсказываетъ г. Авдъевъ, "то особенное, пріятное и нѣсколько смущающее ощущеніе, которое всегда явіяется само собою, если молодой мужчина и молодая женщина, непристроизшіе еще никуда свое такъ называемое сердие, остаются съ глазу на глазъ. Тотчасъ какъ будто подумается: "ну вотъ мы и одни! что же выйдетъ изъ этого?" и при этомъ мужчина иначе поглядить на женщину, а женщина чувствуетъ на себъ этотъ взглядъ, и сама иначе подумаетъ о своемъ собесъдникъ". ("Межъ двухъ огней" стр. 72).

И такъ, вотъ простъйшій случай и обыкновеннъйшія обстоятельства, въ которыхъ можетъ возникнуть непреодолимая любовь. Въ другомъ романъ, молодой человъкъ такъ объясняется съ молодой замужней женщиной:

"Неужели вы думаете, что человѣкъ еще молодой и свободный можетъ встрѣчаться съ женщиной, какъ вы, въ добавокъ съ женщиной, которая ему нравилась, безъ того, чтобы ему не хотѣлось ея любви, когда, и безъ того, ни одинъ мужчина не встръчаетъ равнодушно сампатичную ему женщину! Или вы въ самомъ дѣлѣ думаете, что я зачерствѣлъ, или превратился въ кусокъ льда? Да вѣдь это была бы болтзнь, или уродство..." ("Подводный камень", стр. 181).

И такъ, свободный молодой человѣкъ, если онъ не уродъ и не боленъ, непремѣнно желаетъ любви каждой симпатичной ему женщины. Такъ говорятъ юноши; но, какъ открываетъ намъ г. Авдѣевъ, и старцы не менѣе юношей подвержены власти любви.

"Любовь", говорить онъ, "есть не только одно изъ самыхъ великихъ, но и самыхъ живучихъ чувствъ. Она пронизываетъ все животное царство *), и есть первый двигатель и источникъ жизни. Она

^{*)} Г. Авдъевъ упустилъ изъ виду царство растительное, которое также представляетъ различіе половъ.

238 теорія

переживаетъ въ человъкъ и его молодость и силы. Старческая любовь можеть быть не менъе сильна и глубока, чъмъ всякая иная; опыть, даже опасеніе и боязнь смѣшнаго-и тѣ не всегда мѣшаютъ ей выказываться! Спросите женщину, на какія пожертвованія, на какое безуміе способень остающійся съ ней на единп старикь, - и вы убъдитесь, что, по мъръ утраты правъ на это великое и сладчайшее чувство, человъкъ, кажется, болъе и болъе дорожить его послёднимь проблескомь, послёдними крупицами самой роскошной трапезы, и надо имъть болье чъмъ когда либо самообладанія, силы воли и глубоко - трезваго взгляда, чтобы, сознавъ пору увяданія, съ грустью, но твердо сказать себъ: эту прелестнъйшую сторону жизни я отжилъ навсегда!"» ("Межъ двухъ огней", стр. 94 и 95).

Таково положеніе дѣла. Мы не имѣемъ причины сомнѣваться въ справедливости этихъ картинъ; мы думаемъ даже, что авторъ очень мѣтко выразилъ въ нихъ образъ мыслей и дѣйствій, если не человѣчества вообще, то извѣстной доли нашего просвѣщеннаго общества, что есть дѣйствительно среда, въ которой молодой мужчина желаетъ любви каждой молодой женщины и, оставщись съ ней наединѣ, начинаетъ смотрѣть на нее иначе, старики же въ подобномъ случаѣ пускаются на всякія безумства.

Нельзя не замѣтить, что авторъ очевидно радуется такому обилію великаго и сладчайшаго чувства среди тѣхъ людей, которыхъ онъ описываетъ; и въ самомъ дѣлѣ, если въ любви счастье, то чѣмъ его больше, тѣмъ лучше.

Но какъ же при этомъ изобиліи счастія изобжать страданій? Какъ сдёлать, чтобы, при такомъ порядкё вещей, мужья и возлюбленные не мучились отъ того, что ихъ жены и подруги охладёваютъ къ нимъ, влюбляются въ другихъ и, наконецъ, вовсе покидають своихъ прежнихъ сожителей? Вотъ существенный вопросъ, и вотъ гдё обнаруживается вся сила и всё свойства теоріи благополучія.

Проповѣдники счастія требують въ этомъ случаѣ, чтобы человѣкъ измъниль свои иувства, чтобы онь силою ума подавиль въ себѣ тѣ непріятныя волненія, которыя испытывають люди грубые и непросвѣщенные. Обыкновенно при измѣнѣ въ любви люди мучатся ревностію, начинають ненавидѣть женщину, которая имъ измѣнила, и мужчину, къ которому перешла любовь этой женщины, и, наконецъ, если и поборають въ себѣ злобу противъ нихъ, то чувствують глубокое горе и разочарованіе. Очень часто теряется при этомъ всякая вѣра въ любовь и всякая охота къ дальнѣйшимъ любовнымъ похожленіямъ.

Все это требуется устранить; проповѣдники счастія надѣются, что они могуть своими убѣжденіями искоренить въ людяхъ всякую возможность подобныхъ чувствъ и даже внушить людямъ чувства совершенно противоположныя.

Ревность, злоба, отчанніе и пр.—все это признается чувствами фальшивыми, напускными, противными природь. Ревность есть нелѣность; она основывается или на зависти къ чукому счастію, или на томъ предразсудкѣ, по которому мужчина считаетъ женщину своей исключительной собственностію, унижаеть ее на степень своего сюртука или халата, ему одному припадлежащаго. Питать къ любящимся злобу также нелѣно; скорѣе нужно радоваться ихъ взаимному счастію и сколько возможно способствовать ему. Наконецъ, приходить въ отчаяніе тоже не слѣдуетъ, а нужно спокойно покориться необходимости и приняться энергически искать себѣ новой любви, на мѣсто той, которую мы потеряли.

Таковъ новый кодексъ новыхъ чувствъ, которыми должны руководиться просвѣщенные и прогрессивные люди въ дѣлахъ любви.

Да, мы и забыли было объ одномъ существенномъ пунктѣ: женщина, измѣнившая мужчипѣ, можетъ опять быть принята имъ въ союзъ любви, ибо несправедливо и негуманио сердиться за то, что уже прошло, чего больше нѣтъ.

Весьма любопытно было бы съ точностію анализировать эти новыя правила жизни, на что, къ сожальнію, у насъ ньть времени; мы постараемся только дать читателю общее понятіе объ этомъ образь чувствь и мыслей. Главныя черты его, намъ кажется, слъдующія: 1) должно сочувствовать чужому благополучію, 2) должно думать только о настоящемъ, существенномъ, забывать прошлое и не заботиться о будущемъ.

Прекрасное зрѣлище двухъ любящихся существъ должно восхищать насъ. Въ романѣ "Между двухъ огней" нѣкто Ольга Мытищева измѣняетъ своему мужу. У мужа есть братъ, декабристъ и умнѣйшій человѣкъ, котораго чувства должны служить намъ образцомъ. И вотъ что разсказываетъ г. Авдѣевъ объ этомъ умномъ старикѣ: «Мы говорили, что онъ очень любилъ Ольгу, а съ тѣхъ поръ, какъ онъ узналъ о ея связи, по странному, но общему всѣмъ мужчинамъ свойству, она ему стала правиться еще болпе». (стр. 209).

Вотъ какъ слѣдуетъ чувствовать въ подобныхъ случаяхъ. Во-вторыхъ, и главное дѣло,—нужно имѣть въ виду только настоящее. Въ повѣсти "Магдалина", мужъ, узнавши, что въ его отсутствіе жена его любилась съ другимъ, спрашиваетъ ее съ гнѣвомъ: "такъ это правда? Онъ былъ тво-имъ любовникомъ?"

"Послушай" — отвѣчаетъ ему жена: — "естъ вещи, о которыхъ не говорятъ, и я не знаю, по какому праву ты меня допрашиваешь объ этомъ. Я тебѣ сказала, что отдалила его, и ты самъ, надѣюсь, видишь, что я люблю тебя и люблю тебя одного: чего жее тебъ еще? ("Дѣло" № 1. стр. 118).

По глупости и по закоренѣлости въ предразсудкахъ, мужъ не можетъ понять этой разумной рѣчи и продолжаетъ злиться и ругаться; между тѣмъ какъ, еслибы онъ вразумился, онъ, очевидно, успокоился бы и былъ бы счастливъ.

Надъемся, читателямъ ясна теперь главная суть этой теоріи благополучія. Легко развить эту теорію до конца и съ точностію выразить идеалъ, къ которому она стремится. Чтобы люди были счастливы въ любви, они должны вполнѣ покоряться влеченію этого чувства, за измѣну не сердиться, стараго не вспоминать, о будущемъ не думать и одинаково любить какъ своихъ, такъ и неизвѣство-чьихъ дѣтей, рожденныхъ ихъ женою (такъ поступаетъ мужъ "Магдалины", умудренный, наконецъ, горькимъ опытомъ). Однимъ словомъ, люди должны отбросить всѣ фальшивыя чувства, заботы, мысли и различія и руководиться только однимъ великимъ и сладчайшимъ чувствомъ любви.

Что-же сказать объ этомъ идеалѣ? Съ точки зрѣнія счастія онъ, право, очень недуренъ. Для счастія человѣчества, можеть быть, было бы хорошо, еслибы люди перестали думать и помнить, еслибы они отказались отъ разныхъ мечтаній и притязаній и приблизились бы къ животнымъ. Животныя, безъ всякаго сомнѣнія, счастливѣе людей; они спокойиѣе, довольнѣе собою и вполнѣ способны жить однимъ настоящимъ. У Овидія, Мирра, дочь, влюбленная въ отца, горько завидуетъ коровамъ и лошадямъ. Да и вообще, зависть къ счастію животныхъ очень нерѣдко выражалась людьми; вспомните, напримѣръ, Жанъ-Жака Руссо.

Но, бѣдное человѣчество! Оно едва ли когда нибудь будеть въ силахъ измѣнить характеръ своихъ чувствъ, едва ли когда нибудь даже пожелаеть такой переміны. Люди не откажутся оть своихъ высшихъ радостей, отъ своихъ лучшихъ стремленій только потому, что съ этими радостями связаны и соотвътственныя страданія. Люди всегда будуть мечтать о такой любви, при которой потеря любимаго челов ка незам внима, подобно тому, какъ ничъмъ нельзя замънить потерю матери или дътей. Чтобы уничтожить горе, которое намъ можетъ причинить утрата материнской любви, или радости, доставляемой намъ дѣтьми, есть очень простое средство: пусть дъти никогда не знаютъ своихъ родителей, а родители своихъ дътей. Такъ это делается у животныхъ, у которыхъ семейство распадается, какъ скоро кончено дёло воспитанія. Но едва ли, говоримъ мы, человѣчество когда нибудь прибѣгнетъ къ этой мѣрѣ для облегченія своихъ страданій и станетъ искусственно (скрывая дѣтей отъ родителей) производить то, что у животныхъ дѣлается естественно (вслѣдствіе забыванія и погруженія въ настоящее). Точно также, скорое утѣшеніе новою любовью, послѣ потери старой, едва ли когда нибудь будетъ для человѣчества идеаломъ любовныхъ отношеній. Къ великому своему несчастью, люди помнятъ прошлое и не хотятъ отказаться отъ этой памяти; поэтому они бываютъ безутѣшвы и стремятся не къ такому счастью, которое легко забыть и замѣнить новымъ.

Изо всего этого слѣдуетъ, что проповѣдники благополучія очень дурно понимаютъ человѣческую жизнь, видятъ въ ней нѣчто гораздо менѣе серіозное и глубокое, чѣмъ она есть на самомъ дѣлѣ. Ихъ взгляды отзываются легкомысліемъ юности и неопытности, не смотря на то, что иные изъ этихъ проповѣдниковъ украшены сѣдинами; эти люди, очевидно, не прошли горькаго опыта, не извѣдали ни тѣхъ высокихъ желаній, которыя можетъ питать человѣкъ, ни той глубины горя, до которой можетъ довести его жизнь. Для проповѣдниковъ счастья все легко, все возможно, чѣмъ они доказываютъ не столько свое благорасположеніе къ

роду человъческому и сочувствіе его страданіямъ, сколько свое собственное благополучное настроеніе, свое незнаніе серіозныхъ чувствъ и мыслей. Чтобы такъ настойчиво желать счастья и такъ увъренно проповъдывать это желаніе, нужно находиться въ нъкоторомъ легкомъ и пріятномъ расположеніи духа, нужно испытывать нъкоторое довольство собою и своею судьбою. Не весело дъйствительнымъ страдальцамъ слушать ръчи, произносимыя въ этомъ тонъ и духъ; да и всякій серіозный человъкъ не воздержится отъ насмѣшки при видъ такого нанивнаго счастья.

Что касается, въ частности, до г. Авдѣева и его любимой темы, то легко убѣдиться, какъ мало его произведенія захватывають серіозную сторону жизни, какъ слабо онъ понимаетъ истинно-человѣческія чувства и желанія. Картины счастія, которыя онъ рисуетъ, ни мало не привлекательны. Любовь, это "великое и сладчайшее чувство", всенобѣдную силу котораго онъ постоянно воспѣваетъ, не имѣетъ въ его разсказахъ никакой прелести и скорѣе способна внушить отвращеніе. Это не любовь въ настоящемъ смыслѣ, а простое, вялое, холодное сластолюбіе, изъ-за котораго не стоитъ ни страдать, ни жертвовать. Всѣ эти жены, измѣняющія своимъ мужьямъ, и мужья, прощающіе своихъ женъ и вновь живущіе съ ними, поражають насъ

не избыткомъ жизни, а, напротивт, явною мертвеностію, явнымъ отсутствіемъ всякихъ живыхъ и теплыхъ чувствъ, и тѣмъ отвратительнѣе та комедія мнимыхъ волненій и влеченій, которую они разъигрываютъ между собою. Вотъ міръ, въ которомъ невозможно быть счастливымъ, такъ какъ въ немъ нѣтъ ни одного теплаго сердца, ни одного дѣйствительнаго человѣка.

Безжизненность—такова самая основная и характеристическая черта произведеній г. Авд'я ва. И эта школа необходимо должна была прійти къ непониманію жизни, къ отрицанію ея существеннаго содержанія. Давно зам'я чено, что люди глупше, легком'я сленные, слабо чувствующіе и мыслящіе, живуть на св'ят легче и счастлив'я другихъ. Г. Авд'я вполн'я подтверждаеть это зам'я чаніе своими разсказами. Счастье, которое онъ рисуеть и пропов'я дуетъ, основано на совершенномъ нев'я деніи истинныхъ радостей и горестей челов'я челов челов'я челов челов челов'я челов че

1869 г. 4 апр.

Поминки по Аполлонѣ Григорьевѣ.

(1822-1864).

Сегодня (25-го сент. 1889) исполнилось 25 лѣтъ со дня смерти Аполлона Григорьева. Четверть стольтія - долгое время для нашей краткой жизни Но, еслибы онъ всталъ изъ могилы, что новаго нашель бы онъ въ русской литературъ, составлявшей всегдашній предметь его мыслей? В фроятно, онъ быль бы очень удивленъ медленностью нашего развитія. Въ самомъ дѣлѣ, при немъ уже были на лицо и громко заявили себя всё силы, деятельность которыхъ наполняеть это двадцатипятильтіе. Въ публицистикъ уже тогда были въ полномъ цв ту петербургскій нигилизмъ и два московскіе соперника-Катковъ и Аксаковъ. Въ беллетристикъ уже стояли на высшей своей точкъ Тургеневъ, Островскій, Писемскій, пожалуй и Салтыковъ. Всѣ, кого мы назвали, лишь недавно окончили свою дъятельность, но лучшее свое поприще прошли уже при Григорьевъ, а потомъ только понижались, иногда даже черезчуръ замѣтно. Наоборотъ, два писателя, Достоевскій и Л. Н. Толстой, только послѣ смерти Григорьева вполнѣ раскрыли свои силы, пріобрѣли значеніе, можно сказать, отодвинувшее на второй планъ всѣхъ предъидущихъ. Но и при Григорьевѣ они уже очень опредѣлились, и имена ихъ стояли въ первомъ ряду. Наконецъ, поэты въ тѣсномъ смыслѣ были тогда тѣ же и имѣли тотъ же относительный вѣсъ, какой мы имъ теперь придаемъ: изъ покойныхъ—Тютчевъ и Некрасовъ, изъ живыхъ—Майковъ, Полонскій и Фетъ.

Не поразительное ли дѣло? Почти безъ исключенія, на первомъ планѣ литературы стояли и стоять до сихъ поръ люди, появившіеся въ николаевское время, въ послѣднія семь, восемь лѣтъ этого времени. Случилась какъ будто какая-то остановка на цѣлыя сорокъ лѣтъ! Аполлонъ Григорьевъ былъ ровесникомъ всѣхъ элементовъ, которые имѣли и имѣютъ въ литературѣ главную силу по настоящую минуту. Собственно новымъ былъ бы для него развѣ только послѣдній фазисъ дѣятельности Л. Н. Толстого, фазисъ, который теперь у всѣхъ на языкѣ, и у насъ, и повсюду, но огромное значеніе котораго такъ рѣдко кѣмъ понимается.

Разгадка этой остановки, кажется, одна: мы перенесли въ это время тяжкую и страшную болѣзнь—нигилизмъ; въ «интеллигенціи» возникло злокачественное броженіе, которое принимало различныя формы, обострялось и притихало, и разразилось, наконецъ, безумнымъ злодѣйствомъ 1-го марта. Мы жили среди колебанія умовъ и душъ, постоянно отвлекавшаго вниманіе, не дававшаго зрѣть никакимъ зачаткамъ.

Но, если новыхъ талантовъ почти не появлялось, то литература все-таки продолжала расти и развиваться, такъ сказать, вопреки нигилизму. Въ ней были уже силы, не подпадающія ни подъ какую зависимость, какъ, напримфръ, Л. Н. Толстой, котораго «Война и миръ», писанная уже въ началь «эпохи покушеній», вдругь расширила и углубила всв наши литературныя задачи, открыла горизонты, давно потерянные изъ нашихъ глазъ. Были также люди отзывчивые, схватившіеся съ нигилизмомъ грудь съ грудью и освътившіе глубочайшіе прицадки этой бользни-таковь быль Достоевскій. Вообще, не смотря на то, что общій уровень писателей и читателей понижался вмъстъ съ огромнымъ расширеніемъ и внѣшнимъ нарастаніемъ печати, въ сущности, въ глубинь, литература зрѣла, становилась все серіознѣе и строже въ своихъ запросахъ и никакъ не дала сбить себя съ правильнаго пути. Слава Богу, у насъ есть самобытно живущая и растущая литература, есть уже и сознаніе этого, и крѣпкая любовь къ ней. Недавно еще, нельзя было не прійти въ изумленіе и восхищение отъ той живости съ которою сказалось наше литературное сознание въ массахъ читателей. Мы говоримъ о Пушкинъ. Наиболь шая слава досталась Пушкину именно въ концъ этого двадцатипятильтія, тому самому Пушкину, котораго наши журналы давно уже отложили было въ сторону, а нѣкоторые пренаивно собирались сдать вт архивъ. И вдругъ тънь его появилась передъ нами въ такомъ величіи, передъ которымъ поблъднъли всякія соперничества и обратились въ прахъ всякіе толки мудрившихъ надъ нимъ судей.

Аполлонъ Григорьевъ есть писатель, значенію котораго тоже суждено возрастать вмѣстѣ съ развитіемъ нашего литературнаго сознанія. При жизни онъ не имѣлъ никакого успѣха у читателей и былъ совершенно затертъ тѣми, кого онъ называлъ "теоретиками". Хотя имя его и тогда уже было громко, но оно пріобрѣло свой вѣсъ только между писателями, которые не могли же не чувствовать его силы, если только были сколько нибудь проницательны. Вспоминая наши сходки въ послѣднія шесть лѣтъ его жизни, когда я съ нимъ

быль близокъ, я живо приноминаю то явное превосходство, которое онъ имѣлъ надъ литераторами тогдашнихъ кружковъ. Не только онъ быль глубоко образованный челов вкъ, знавшій языки, начитанный, посвященный въ философію, но и очевидный блескъ зрълаго ума и тонкость пониманія ставили его далеко выше другихъ. Между тъмъ, писанія его были не по вкусу и не по плечу нубликъ и проходили безслъдно, лишь изръдка привлекая инаго чуткаго читателя, который зато ужъ становился ихъ жаркимъ поклонникомъ. Та же судьба преследовала его и за гробомъ. Когда въ 1876 г. былъ изданъ нервый томъ его сочиненій, очень большая книга, содержащая всв его главныя, руководящія статьи, то это изданіе сразу, что называется, съло и почти вовсе не шло цълые десять льть. Какимь образомъ случился повороть въ этомъ дълъ? Судя но всему, большая роль здъсь принадлежить профессорамь русской словесности, изъ которыхъ мы можемъ назвать А. Д. Галахова, О. Ө. Миллера и А. И. Незеленова. Они въ своихъ ежегодныхъ курсахъ натвердили студентамъ имя Григорьева, какъ замфчательнаго критика. Какъ бы то ни было, но только, вообще, значение Григорьева, незримо для текущей литературы, очень возрасло къ послъднему времени, и когда цена на его книгу была сильно сбавлена, книга разошлась съ удивительной быстротою; отъ 2.000 экземпляровь осталось уже очень мало. Правда, пришлось прибъгнуть къ тъмъ лавочкамъ, которыя умъютъ лучше продавать, чъмъ магазины.

Пусть извинять намъ эти подробности; въдь эта книга принадлежить къ числу тъхъ, которыя, когда бываютъ прочитаны, уже навсегда удерживають подъ своею властью читателя, такъ что число читателей туть очень близко къ числу почитателей. Кто вникнеть въ Григорьева, тотъ пойметь, что такое истинная критика, и уже никогда не смъщаетъ ее съ тъми разсужденіями и разглагольствіями, которыя слывуть подъ ея имепемъ. Обыкновенно, само художество, само творческое произведение бываеть отодвигаемо на второй планъ передъ соображеніями цінителя и судьи. У Григорьева же главное мъсто всегда принадлежало художеству, а не его критику. Поэтому-то для его глазъ въ словесныхъ произведеніяхъ открывалась самая глубокая ихъ значительность; онъ видёлъ п понималъ ихъ внутреннее біеніе, ихъ тайный ростъ изъ души челов вка. Искусство было для него самымъ лучшимъ, самымъ полнымъ откровеніемъ жизни; поэтому онъ уловлялъ самыя сокровенныя нити, связывающія искусство съ жизнью и умёль идти за художникомъ всюду, куда тотъ поведетъ. Онъ называлъ это органическою критикою, такъ какъ «организмъ» есть синонимъ всякихъ внутреннихъ связей и всякаго своеобразія. Поэтому, также, критика Григорьева имѣла направленіе къ націонализму; «національность» вѣдь есть одна изъ органическихъ категорій, неизбѣжная при разсмотрѣніи явленій человѣческаго міра. И если кому дорога мысль о нашей самобытности, тотъ никогда не забудетъ высокой оригинальности, съ которою эта мысль была приложена Григорьевымъ къ нашей литературѣ.

Значеніе Аполлона Григорьева будеть еще долго возрастать. Не только сдёланный имъ очеркъ литературнаго развитія отъ Карамзина до того фазиса, явленія котораго до сихъ поръ еще не завершились, есть единственный у насъ полный и органически-связный взглядъ на нашу литературу, но еще важнѣе, еще больше имѣютъ глубокой поучительности самые пріемы нашего единственнаго критика. Въ дѣлахъ ума главная заслуга всегда заключается не столько въ результатахъ, сколько въ методѣ, усвоивая который мы сами получаемъ способность продолжать дѣло.

Не пожалѣть ли намъ, что такъ рано ушелъ отъ насъ несравненный критикъ? Будемъ утѣшать себя, что онъ успѣлъ уже высказать свои главныя мысли; но, безъ сомнѣнія, онъ далъ бы намъ еще

много поучительнаго. Для него самого, впрочемъ, жизнь уже имъла мало свътлаго въ послъдніе его годы. Аполлонъ Александровичъ принадлежалъ къ темъ натурамъ, къ которымъ принадлежить большинство людей, дёйствительно стоющихъ имени писателя, т. е. онъ былъ одаренъ крайнею виечатлительностью. Читатели, любующіеся хорошими писаніями, едва ли имбють понятіе о томъ, какою дорогою ценою нередко покупаются всь эти мъткіе взгляды, живыя и тонкія замьчанія, весь этотъ пламень мысли, бъгущій по строчкамъ. Обыкновенное условіе этого то, что на писателя многое действуеть стократь сильнее, чемь на другихъ людей, что бываютъ вещи, поглощающія его душу, такъ что спокойствіе для него почти невозможно. А следовательно, страданіе всегда готово захватить его, и часто въ конецъ губитъ неосторожныхъ. Трудно себъ представить, какимъ бы образомъ Григорьевъ могъ перенести ту тяжкую четверть вѣка, которая прошла послѣ его смерти. Его, во всякомъ случав, должно было скоро замучить то разложение журналистики, паденіе чисто-литературныхъ вкусовъ и общее пониженіе текущей литературы, которое наступило послѣ польскаго возстанія. Душевныя свойства Григорьева для меня (какъ и для многихъ его знавшихъ) были чрезвычайно привлекательны, и, несмотря на безпорядокъ его жизни, эта симпатія ни разу не была во мнѣ нарушена, потому что никогда нельзя было у него встрѣтить ни единаго движенія мелочности или эгонзма. Онъ быль дѣйствительно широкій человѣкъ, истинно добродушный и беззавѣтно увлекающійся. И вотъ потомуто, что у него было не довольно эгонзма, слишкомъ мало осторожности и заботы о собственной особѣ, трудно было бы ему сберегать себя долгіе мрачные годы, и онъ рано оставиль насъ.

Миръ праху твоему, незабвенный нашъ критикъ! Нынче, собираясь на твою могилу, мы должны со стыдомъ признаться, что твои свѣтлыя мысли и плодотворные взгляды до сихъ поръ еще мало нами усвоены и разъяснены; и мы должны, по крайней мѣрѣ, дать твердое обѣщаніе, что драгоцѣнное наслѣдство, которое ты намъ оставилъ, мы сохранимъ и завѣщаемъ его новымъ поколѣніямъ.

25 сент. 1889.



Послѣдній изъ идеалистовъ.

(Отрывокъ изъ ненаписанной повисти).

Посвящается Ю. П. П-ой.

Вы помните Павла Николаевича Т-хова; года два тому назадъ, когда онъ ненадолго прівзжаль въ Петербургъ, вы его видели, и тогда же заметили, что онъ человъкъ очень изящный и тонко развитый. Но я его знаю давно, съ того времени, какъ я еще только поступалъ въ студенты университета, а онъ уже несколько летъ быль военнымъ медикомъ. Онъ былъ старше меня годами десятью и, несмотря на то, мы, студенты, образовали около него кружокъ, очень къ нему расположенный. Онъ производилъ на насъ странное действіе; въ немъ было спокойствіе, глубина котораго казалась неизмёримою. Это не было однакоже спокойствіе апатіи или холодное равнодушіе полнаго отчаннія; повидимому онъ былъ спокоенъ свътло и ровно. Оттого намъ было съ нимъ такъ

хорошо. При немъ, бывало, разговоришься и разболтаешься вволю: удивительный былъ мастеръ слушать и понимать все до тонкости. Заспоримъ, бывало, разгорячимся до подступа злости: онъ сейчасъ же точно руками разниметъ насъ и дастъ разговору спокойное теченіе. Часто въ то время нападала на меня молодая тоска; тогда я прямо шелъ къ нему и навърное зналъ, что просидъвши часъ-другой, уйду отъ него успокоенный и усмиренный.

Онъ былъ одинокій человѣкъ и водилъ знакомство со множествомъ разнокалибернаго народа. Но что же это былъ за человѣкъ? Чѣмъ жилъ онъ? То-есть, что составляло его радость и горесть, его внутреннюю жизнь? Никто не зналъ этого. Кромѣ его преданности медицинѣ, его постоянныхъ ученыхъ работъ, никто не зналъ за нимъ другаго, болѣе личнаго, болѣе живаго интереса. Онъ никогда не говорилъ о себѣ, никогда не высказываль своихъ желаній; не видать въ немъ было ни зависти, ни злобы; казалось, онъ никогда не испытывалъ ни особенныхъ восторговъ, ни особенныхъ огорченій.

Насъ это очень занимало. Въ то время, какъ мы вокругъ него ссорились, влюблялись, кутили, страдали или торжествовали самолюбіемъ, онъ оставался среди насъ неизмѣнно спокойнымъ и яснымъ.

На понойкахъ онъ пиль не менѣе другихъ, но ни разу не сдѣлалъ и не сказалъ ни единой глупости. Мы повѣряли ему свои тайны; онъ никогда не впадалъ въ откровенность и всегда увѣрялъ, что ему нечего открывать.

Помню слова его, которыя очень удивили меня. Мы всѣ называли его прекраснѣйшимъ человѣкомъ и часто говорили ему это въ глаза. Однажды на такую рѣчь онъ возразилъ мнѣ съ большою живостію: "ничего во мнѣ нѣтъ прекраснаго. Развѣ вы не видите, что хвалите во мнъ одни отрицательныя качества? Что я не питаю никакихъ злыхъ мыслей и желаній, и не дійствую по какимъ нибудь глупымъ капризамъ-въ этомъ еще не большая заслуга. Отъ этихъ отрицательныхъ добродътелей никому ни тенло, ни холодно, а только мнъ скверно". Какъ такъ? спросилъ я. - "Да такъ; я деликатенъ-это соблазняеть того или другаго обращаться со мною назойливо; я уступчивъ-отъ этого многіе становятся требовательны ко мніз въ высочайшей степени; я не отказываю въ услугъ, когда могу-и непремённо находятся такіе, которые думають, что я обязань дёлать имъ всякія услуги; я незлобливъ-и вотъ почти постоянно чувствую, что кто нибудь старается взобраться мнъ на шею и хорошенько осъдлать меня".

«Все это пустяки», прибавиль онь, смеясь: - «да

прекраснаго-то туть мало. Я немножко порчу людей. Настоящій прекрасный человѣкъ тоть, кто ихъ исправляеть, кто имѣетъ силу надъ человѣческими душами. Люди, какъ лошади, любять, чтобы ими правили твердо и сидѣли на нихъ крѣпко. А я видите какой—ни на кого не сажусь, да и самъ на себя сѣсть не позволяю".

Странный человѣкъ! Такъ мы ничего отъ него и не узнали. Я въ особенности приставалъ къ нему съ распросами; я говорилъ ему, что онъ самый скрытный человѣкъ въ мірѣ, что странно, по чему онъ не можетъ открыться даже людямъ такимъ близкимъ, какъ я, что имѣетъ же его жизнъ какую нибудь исторію, которая непремѣнно любопытна, какъ всякая исторія души человѣческой.

"Не нужно, не нужно!» отв'ячалъ онъ, см'язсь:— "совершенно излишніе разговоры! В'єдь вы меня знаете? Чего же вамъ больше?"

Наконецъ, однажды онъ проговорился. "Исторія!" сказалъ онъ:— «пожалуй, исторія и была; да только трудно, ужасно трудно разсказать ее".

Попробуйте! приставалъ я.

"Хорошо. Въ самомъ дѣлѣ, я подумаю объ этомъ. Только нужно вѣдь это написать, никакъ не иначе. Придется пожалуй возиться... Ну, когда нибудь!"

Это когда нибудь тянулось долго. Изръдка я

напоминалъ ему объщание, но онъ отвъчалъ, что ему некогда. Я думалъ уже, что дъло пропало.

Пять лѣтъ тому назадъ, ему пришлось по служотъ татъ въ провинцію, и съ тѣхъ поръ онъ живеть въ порядочной глуши. Мы переписываемся; но онъ не мастеръ на простыя письма, часто подолгу молчитъ; за то его рѣдкія письма, писанныя всегда по какому нибудь особому случаю, полны питательнъйшаго содержанія. И вотъ не такъ давно я былъ обрадованъ толстъйшимъ пакетомъ: письмо въ шесть почтовыхъ листовъ! Оказалось, что тутъ по крайней мѣрѣ часть той исторіи, которой я добивался. Въ началѣ онъ кой кого ругаетъ, говоритъ о скукѣ своей жизни, потомъ объ обстоятельствахъ, неожиданно оставившихъ его на нѣкоторое время безъ дѣла, и затѣмъ продолжаетъ:

"Я вспомниль свое объщаніе. Знаете ли, почему я такъ долго откладываль его исполненіе, да и теперь такъ неохотно приступаю къ нему? Занимаясь опытною наукою, я привыкъ къ порядку, правильности, ясности; я когда-то очень любиль математику. Но тутъ я боюсь, что не съумѣю выражаться спокойно и отчетливо, что какъ нибудь невольно собьюсь въ туманъ или въ сторону... Попробую, однако.

"Діло въ томъ, что я — существо нісколько

особенное, не менѣе особенное, чѣмъ, напримѣръ, Гамлетъ Щигровскаго уѣзда. Съ ранняго дѣтства, съ тѣхъ поръ, какъ только я себя помню, я постоянно чувствовалъ въ себѣ эту особенность, сознавалъ, что она лежитъ въ самой глубинѣ моей души, въ самомъ корнѣ моей натуры. Въ извѣстномъ смыслѣ ее можно бы назвать идеализмомъ, или даже гамлетизмомъ; но гораздо лучше будетъ, если я, безъ всякихъ околичностей, разскажу вамъ, какъ было дѣло.

"Помню я себя очень рано; мнъ мерещится даже, какъ нянька держитъ меня на рукахъ передъ печью, въ которой варится картофель, -старое холерное время, когда карантины остановили подвозъ съестныхъ припасовъ въ нашъ городокъ, и многимъ приходилось питаться однимъ картофелемъ. Но все это--сумерки, почти темная ночь для моей памяти. Съ величайшей живостью я номню, какъ вдругъ прошли эти сумерки, номню первое пробужденіе яснаго сознанія; оно д'єйствительно походило на яркій лучъ солнца послъ темной ночи. Это случилось въ день смерти отца. Мит было тогда леть шесть, но до сихъ поръ сохранились въ моей памяти всѣ подробности. Въ ту ночь меня душиль кошмарь. Казалось мнь, что я лежу въ постели, и что къ самому моему лицу наклонилось какое-то страшное чудовище. Я не имълъ силы пошевельнуться и не могъ взглянуть на него; а оно, наклонясь къ самому моему уху, глухимъ голосомъ ревѣло: "угу! угу!"... Меня разбудили, и какъ только я раскрылъ глаза, я увидёль, что вокругь меня дёлается что-то необыкновенное. Домъ быль полонъ людей, плакали, разговаривали какимъ-то страннымъ, до сихъ поръ мною неслыханномъ тономъ. Что такое? Отецъ умеръ. Не помню первыхъ минутъ; едва мелькаетъ въ моей памяти трупъ отца, который я увидель изъ другой комнаты. Но когда сознание мало по малу прояснилось, оно все перешло въ чувство какого-то особеннаго изумленія. Проходили сутки, потомъ другія, третьи, а я все старался понять, что такое делается кругомъ и напряженно вглядывался и вслушивался. Все кругомъ меня, лица слова, мысли и движенія, все казалось мив чёмъто незнакомымъ и чуждымъ. А что такое быловсе это чужое и непонятное? Это была просто жизнь, это были проявленія жизни, разбуженныя и ускоренныя смертью. Не съумъю выразить этого дътскаго настроенія точными словами; скажу, какъ могу. Въ тъ минуты, я какъ будто въ первый разъ и съ глубокой ясностію чувствоваль, что я чужой для жизни, что я такъ сказать неживой, неживущій человекъ. Жизнь стала для меня загадкою, для которой нужно искать разръшенія, темнымъ

пѣломъ, требующимъ уразумѣнія. Все это время я быль тихъ и неподвижень; даже въ тв минуты, когда подступала печаль, когда слезы текли по моему лицу, меня не оставляла моя дума, и я напряженно вникаль; что же это такое? Я тогда же замѣтиль-и это меня поразило-что брать мой, почти мой ровесникъ, глубоко отличается отъ меня. Онъ очевидно жилъ, тогда накъ я не жилъ. Онъ принималъ во всемъ прямое, живое участіе; никакая дума не тягот бла надъ нимъ и не отталкивала его отъ жизни. Послѣ самаго горькаго плача, онъ скоро осущалъ глаза и весьма бодро вмѣшивался въ какія нибудь хлопоты, бъгалъ по двору, даже совершилъ какую-то шалость по случаю раздачи нищимъ денегъ и калачей. Я же только смотрёль и думаль свою изумленную думу.

"Говорю вамъ все это подробно потому, что, для объясненія моего душевнаго строя, все это имѣетъ величайшую важность. Представьте, что я, какъ вытаращилъ тогда глаза на жизнь, такъ и остался на долгое время съ вытаращенными глазами, что и въ моемъ отрочествѣ и въ моей юности все мнѣ казалось чужимъ и непонятнымъ, и что это глубокое и тяжелое раздвоеніе мало помалу утратило свою рѣзкость только въ совершенно зрѣломъ возрастѣ мужества, но навсегда оставило во мнѣ свои слѣды.

«Такова ужъ, видно, моя натура. Въ самомъ дѣлѣ, ужъ тутъ не можетъ быть и рѣчи о вліяніи окружающей среды. Согласитесь, что когда дѣло идетъ о шестилѣтнемъ мальчишкѣ, выросшемъ въ уѣздномъ городкѣ Россійской имперіи, то тутъ не можетъ быть и рѣчи о кружкѣ in der Stadt Moskau, о гегелевской энциклопедіи и тому подобныхъ предметахъ, на которые жалуется Гамлетъ Щигровскаго Уѣзда. Тутъ уже ясно, не среда, а натура есть причина всякихъ раздвоеній и гамлетообразныхъ настроеній. Мнѣ кажется, Тургеневъ погрѣшилъ, слишкомъ отчетливо указывая на причины, создавшія героя его удивительнаго разсказа.

«Что касается до меня, то, ссылаясь на свою натуру, я имъю для этого весьма твердыя доказательства. Въ самомъ дълъ, въ своемъ идеализмъ, или гамлетизмъ, или какъ хотите, я похожъ на мать, а мать моя была въ этомъ отношеніи весьма замъчательнымъ образчикомъ.

«Прежде всего, пожалуйста, не думайте, что я намѣренъ кощунствовать. Въ этомъ нѣтъ ника-кой надобности. Мать моя была невиннѣйшее и чистѣйшее созданіе, какое только я знаю. На ней не лежетъ не только какого нибудь самаго маленькаго грязнаго пятнышка, а даже малѣйшей темной полоски. Я не помню между нами даже

тѣни, даже возможности неудовольствія. Чѣмъ чаще я обращаюсь къ прошлому, къ той жизни, которая тогда насъ окружала, и которою ни я, ни она не жили, тѣмъ отраднѣе я останавливаюсь на свѣтлыхъ чертахъ матери.

«Дѣло въ томъ, что эта жизнь была въ сущности—ужасна. Первыя мои открытія, первыя мои мальчишескія наблюденія, которыя я, разумѣется, впослѣдствіи часто провѣрялъ и унсняль себѣ, составляють картину самаго мрачнаго характера. Вездѣ какъ будто однѣ адскія краски, смѣшеніе краснаго цвѣта съ чернымъ. Я не буду распространяться о взяткахъ и всякихъ притѣсненіяхъ, о дикомъ пьянствѣ и развратѣ, о соблазненныхъ женщинахъ и незаконныхъ дѣтяхъ, брошенныхъ гдѣ нибудь въ деревнѣ и умирающихъ отъ недостатка присмотра. Все это—вещи довольно обыкновенныя и далеко не самыя худшія изъ тѣхъ, которыя я видѣлъ. Въ тотъ ранній возрастъ,

Въ тъ дни, когда мнъ были новы Всъ впечатлънья бытія,

мнѣ попадались циническія, отвратительныя связи стариковъ и старухъ, попадались случаи хуже кровосмѣшенія, наконецъ убійство, отрава, задушеніе.

«Помню я въ особенности одного барина, кото-

рый еще приходился намъ сродни и долго носился передо мною, какъ самое живое и яркое лицо, какъ человъкъ, въ которомъ жизнь била полнымъ ключомъ. Это быль здоровый, красивый и бойкій баринъ, неистощимо-веселый, въ полномъ смыслъ душа общества. Онъ не пошель дальше третьяго класса гимназіи, но нисаль чрезвычайно красивымъ почеркомъ и съ большимъ толкомъ, хотя при этомъ соблюдаль свое собственное правописание и словосочиненіе. Былъ онъ на служов и женать. На службъ онъ былъ дока, грабилъ страшно и велъ дела свои отлично. Жена его, крошечная женщина была тоже бойкая барыня, любила мужа безъ памяти и была красавица, какихъ мало. Но, хотя они жили ладно, мужъ былъ большой волокита и соблазняль замужнихъ женщинь и дъвицъ. До сихъ поръ нередо мною мелькаютъ объды и вечеринки въ его домѣ, пирушки, на которыхъ главнымъ лицомъ, главнымъ свътиломъ былъ самъ хозяинъ. До сихъ поръ какъ будто вижу его мощную фигуру, его красивое, оживленное лицо, великолъпныя кудри, и какъ будто слышу его смѣхъ, звучащій самою кипучею, самою удалою веселостью.

«Кончилось все это очень дурно. Дон-Жуанъ, тысячу разъ попадавшійся въ разныхъ бѣдахъ и тысячу разъ изъ нихъ вывертывавшійся, оказался, наконецъ, замѣшаннымъ въ одно уголовное дѣло. Онъ участвовалъ въ составленіи фальшиваго ду ховнаго завѣщанія. Долго онъ и тутъ бился и изворачивался; жена его бросила все и цѣлыя шесть лѣтъ съ удивительной энергіей хлопотала въ Петербургѣ, обивая пороги разныхъ дѣловыхъ людей и высшихъ присутственныхъ мѣстъ. Ничего не помогло: послѣ десятилѣтняго слѣдствія и разбирательства его сослали въ Сибирь. Не колеблясь ни минуты, жена поѣхала за нимъ и увезла съ собой дочь, милую дѣвушку, которая больше чѣмъ кто нибудь, напоминала мнѣ Татьяну Пушкина. Всѣ трое они умерли тамъ, очень скоро послѣ ссылки, и очень быстро слѣдуя другъ за другомъ.

«Любопытно это уголовное дѣло, въ которое такъ неосторожно замѣшался мой веселый взяточникъ и Дон-Жуанъ. Дѣло это — помѣщицкое, дѣло богатыхъ наслѣдствъ и завѣщаній. Тремъ сыновыямъ богатаго помѣщика наскучило ждать смерти отца. Они согласились между собою, какъто ловко придушили старика, и потомъ спокойно стали владѣть каждый своею частью имѣнія. Двое изъ нихъ были особенно дружны между собою; черезъ нѣсколько времени имъ пришла мысль—извести третьяго брата, который, сверхъ своей доли имѣнія, виноватъ былъ также тѣмъ, что не

принималъ прямаго участія въ убійствѣ отца. И это предпріятіе было исполнено совершенно благополучно. Послѣ того, два оставшіеся брата долгое время жили спокойно, оставаясь въ большой дружбѣ и часто навѣщая другъ друга. Наконецъ, одинъ изъ нихъ не выдержалъ, и попробовалъ, пользуясь своими дружескими отношеніями, отравить другаго. Отравить-то онъ отравилъ и завѣщаніе фальшивое сдѣлалъ, но не успѣлъ совершенно схоронить концы. Дѣло какъ-то обнаружилось, и началось слѣдствіе.

«Исторія, однако же, этимъ не кончается. Разумъется, допросы, свидътели — все это ничего не значить; если бы дёло шло только офиціальнымъ судебнымъ порядкомъ, то его можно бы было замазать и устроять какъ нельзя легче. Но, къ удивленію и несчастію, на цёлую губернію сталъ нанадать какой-то ужасъ. Всѣ стали говорить о дёлё, какъ о страшномъ злодёйствё, тогда какъ въ судъ это дело нужно было представить, какъ пустую ошибку и недоразумфніе. Помфщикъ приняль свои мёры противь слуховь. Какъ только какой нибудь крестьянинъ или дворовый изъ усадьбы его покойнаго брата отправлялся въ городъ, онъ непремънно погибалъ, или пронадалъ на дорогѣ, или скоропостижно умиралъ но прівздѣ въ городъ. Такихъ случаевъ насчитали до десятка.

«Разумѣется, туть или вовсе не начиналось дѣла, или если оно начиналось, то стараніями номѣщика тотчасъ было погашаемо. Но ничто не помогло: несмотря на всѣ усилія, помѣщикъ не ушелъ отъ каторги.

«Такова была эта жизнь, на которую я тогда безусифшно таращиль глаза. Припоминая и соображая теперь всю обстановку, всю тогдашнюю житейскую атмосферу, я не вижу въ ней ни единой свѣтлой черты. Свѣтлаго и чистаго въ ней только и было что сиреневые кусты въ нашемъ саду, да моя мать.

«Среди всѣхъ этихъ черныхъ и мелкихъ и горячихъ страстей, мать моя является мнѣ чистою голубицею, и именно потому, что въ ней не было никакой страсти, никакой глубокой и сильной житейской черты. Она была чужда жизни, и не освоилась съ нею до самой смерти. Что она ни говорила, и что она ни дѣлала, все это было чистѣйшее подражаніе, подражаніе наивное, усильное и добросовѣстное, но совершенно неудачное.

«Приноминаю случай, который, по своей необычайной странности, рѣзко запечатлѣдся въ моей памяти. Дѣло въ томъ, что мать моя, эта чистая голубица, какъ я сейчасъ сказалъ, однажды меня высѣкла. Согласитесь, что это очень любопытно. Я тогда только что началъ ходить въ школу;

увлекаемый непреодолимымъ желаніемъ бъгать, я оставилъ гдъ-то на минуту свои книги; въ ту же минуту, разумъется, онъ были у меня украдены.

«Вину свою я понималь хорошо и очень боялся, чтобы мив не досталось отъ кого нибудь изъ семейства, но только никакъ не отъ матери. Когда я вернулся домой, мать, конечно, сочла нужнымъ сильно побранить меня. Но ея упреки и наставленія я выслушалъ совершенно спокойно; я чувствовалъ, что она не умѣетъ сердиться, что тутъ нѣтъ и тѣни гиѣва, а все дѣлается потому, что такъ нужно.

«Тѣмъ, я думалъ, все и кончится. Вышло однакоже не такъ. Мать задумала на этотъ разъ разыграть роль строгой воспитательницы и прибѣгнуть къ самому несомнѣнному педагогическому средству для моего исправленія. Но какъ исполнить этотъ благоразумный замыселъ, вполнѣ предписываемый долгомъ матери? Дѣло было ужасно трудное и разрѣшилось престраннымъ образомъ.

«Наступилъ вечеръ; мы поужинали и наконецъ пошли въ дътскую спать. Только что мы улеглись и нянька унесла свъчу, какъ входитъ въ дътскую мать. Въ потемкахъ она сдергиваетъ съ меня одъяло и начинаетъ слабо хлестать мени какимито прутиками, непричинявшими ни малъйшей боли. Я, конечно, пустился ревъть, какъ этому и слъдуетъ быть при всякомъ надлежащемъ съче-

ніи. Мать скоро ушла, какъ я полагаю, совершенно довольная своимъ педагогическимъ геройствомъ, тѣмъ, что сдѣлала какъ другія, что поступила, какъ нужно. Увы! Она и не подозрѣвала, какъ мало тутъ настоящаго.

«Помню и другія сцены и случаи, рѣзко рисующіе природу матери. Гостили мы какъ-то у тетки, родной сестры матери. Домъ тетки иногда захлебывался народомъ и вообще кипълъ той жизнью, о которой я говориль вамь. Въ обществъ, среди этой непонятной для нея жизни, матери моей, бывало, и не слыхать и не видать. Но за то, когда никого не было дома, когда оставались тетка и дъти, мать моя предавалась престраннымъ занятіямъ или, такъ сказать, обнаруженіямъ самой себя. Она была тогда еще молода; послъ отца она осталась лътъ двадцати съ небольшимъ; но кромъ того она всю жизнь сохраняла въ себъ что-то дъвическое и никогда не имъла ничего бабьяю. И вотъ у тетки она, бывало, выходитъ въ пустую залу съ «новъйшимъ пъсенникомъ» въ рукахъ. Потихоньку расхаживая и охорашиваясь, она начинаеть тоненькимъ и слабенькимъ голосомъ пѣть по этому пѣсеннику: «Стонетъ сизый голубочекъ», «Среди долины ровныя» и Тетка, бывало, сидитъ и что нибудь работаетъ. Пѣніе продолжается часъ, или полтора.

"Всего больше меня уже тогда удивляло обыкновенное заключение этой сцены. Напфвинсь вдоволь, мать закрывала песенникъ и каждый разъ обращалась къ теткъ все съ тъми же словами. Именно, она очень нѣжно и плавно произносила: извини, милая сестрица, что я тебя безпокою. И тонъ, и смыслъ, и самый слогъ этихъ словъ приводили меня въ недочмѣніе. Обыкновенно мать съ теткой обращалась запросто, а туть вдругь церемоніи! Да и говорили они всегда иначе: извини, милая сестрица-было явное сочинение, и сочинение въ томъ самомъ нежномъ духе, въ какомъ были пъсни. Поэтому выходилъ ръзкій контрастъ, когда тетка, женщина вполнъ живая, отвъчала обыкновеннымъ человъческимъ языкомъ: полно, Саша, что за безпокойство.

"У тетки мы только изрѣдка гостили, но постоянно мы жили у бабушки, гдѣ было не до пѣсенъ. Бабушка... Но вѣдь этакъ я, пожалуй, никогда не кончу своихъ разсказовъ о матери. Будетъ и этого. Мнѣ хотѣлось только сказать, что я живо помню мать, и не могу ошибиться въ ея духовной природѣ. Изъ всѣхъ окружающихъ, я одну ее любилъ и вполнѣ понималъ. Она была со мною говорливѣе и откровениѣе, чѣмъ съ кѣмъ нибудь изъ взрослыхъ. При этомъ она больше или меньше принимала на себя роль старшаго чело-

въка, вполнѣ опытнаго и знающаго свътъ и людей. Увы! на самомъ дѣлѣ она была такимъ же непонимающимъ и чуждымъ жизни ребенкомъ, какъ и я. Бывало, цѣлуя ея руки и глядя въ ея кроткое лицо, я слушалъ ея жалобы, ея сужденія объ окружающихъ лицахъ и дѣлахъ, и думалъ про себя: нѣтъ! это не то; это чужія рѣчи, подслушанныя у другихъ слова; мать только показываетъ видъ, будто она взрослая, будто она понимаетъ эту жизнь и участвуетъ въ ней такъ же, какъ и другіе.

"Итакъ, я вполнѣ увѣренъ, что то мое душевное настроеніе, о которомъ я говорю, я наслѣдовалъ прямо отъ матери, а не обязанъ имъ «средѣ», или какимъ нибудь случайностямъ. Сама природа, какъ видно, подшутила надо мною эту шутку. Произведя меня на свѣтъ, она отрѣзала пуповину, которая соединяетъ другихъ людей съ жизнью, и пустила меня гулять, не назначивъ мнѣ ни мѣста, ни времени, не давши мнѣ ни житейскаго инстинкта, ни родимаго улья. Тутъ есть, какъ вы видите, нѣкоторее сходство съ тѣмъ совершеннымъ отсутствемъ оригинальности, на которое такъ горько жаловался Гамлетъ Щигровскаго уѣзда.

"Такимъ образомъ, мнѣ приходилось, такъ сказать, собственными средствами добиваться пониманія жизни. Какая работа! Какъ дорого мнѣ стоило разрѣшеніе этой задачи! Все, что другимъ дается даромъ, что приходитъ къ нимъ само со-собою, мнѣ приходилось брать съ бою, пріобрѣтать тяжелыми усиліями.

"Быть какь всю, походить на другихъ людей, смотрёть на жизнь такъ, какъ они смотрятъ и участвовать въ ней, какъ они участвуютъ—воть въ чемъ состояла вся задача. Тысячи людей ни мало этимъ не затрудняются; для меня же это составляло египетскую работу, составляло затрудненіе, которое я едва одолёлъ упорною борьбою. Такъ что, когда наконець я кое-какъ совладёлъ съ дёломъ, оказалось, что уже первые сёдые волоски начинаютъ являться въ свой положенный срокъ...

"Разскажу все по порядку. Сначала дёло пошло очень хорошо. Прежде всего приходилось мий заняться собственнымъ обученіемъ и дать себё образованіе, какое слёдуетъ имёть всякому хорошо воспитанному человёку. Это первое мое предпріятіе уподобиться другимъ людямъ пошло весьма усибшно, хотя обстоятельства отнюдь мий не благопріятствовали. По смерти отца, домъ нашъ чтото скоро продали, и мы очутились въ очень стёсненномъ положеніи. Меня учили кой-чему и какъ попало. Пробовали было пихнуть меня къ дядё, человёку весьма достаточному, но тотъ прочель

мнѣ длинное и весьма неблагосклонное наставленіе и ограничился тімь, что наняль мні учителя изъ семинаристовъ, коротенькаго человъка съ боль-Этотъ учитель училъ меня около носомъ. года, и училъ хорошо, но обходился со мной недружелюбно, и въ видъ наказанія даваль мнъ щелчки въ лобъ. Затемъ, я былъ предоставленъ на волю Божію. Но, какъ я сказаль, я уже тогда самъ о себъ заботился. Мнъ было лътъ двъналцать, когда у меня сформировалось твердое желаніе приготовиться къ вступительному экзамену въ университетъ. Понемногу я сталъ приводить это желаніе въ иснолненіе. Надобно замѣтить, что въ нашемъ городкъ не было гимназіи, и слъдовательно не было ни одной точки, гдф бы уровень познаній подымался до высоты гимназическаго курса. Но я воспользовался всею тою массою учености, какую нашель вокругь себя. Жиль у насъ въ городъ ссыльный уніать, человъкъ одинокій, чужой всёмъ, его окружавшимъ; онъ охотно сталъ заниматься со мною и учить меня по латынъ и по французски. Зналъ онъ эти языки весьма посредственно, но все-таки зналъ. Исторію, географію, русскую словесность я приготовилъ самъ, безъ руководителя; нужно было только достать книги, и я помню, какъ я долго ухаживалъ за однимъ лысымъ и пьяненькимъ господиномъ. Питая любовь

къ наукамъ, онъ выписалъ себъ великую новость тогдашняго времени: Всеобщую исторію Смарагдова. Вфроятно, это быль единственный экземиляръ въ целомъ городе, и я добился-таки того, что онъ побывалъ въ моихъ рукахъ. Но всего труднье было справиться съ математикой. Сначала, при помощи уніата и другихъ, дѣло шло еще довольно хорошо; но чтмъ дальше, ттмъ меньше я находилъ цомощи у своихъ руководителей и, наконецъ, они вовсе меня оставили. Когда пришлось проходить логариемы, оказалось, никто въ город в не зналъ хорошенько, что это такое. Помню, какъ я бъгалъ и хлопоталъ. Меня знали немножко въ городъ, знали, что и подаю надежды, и потому и довольно смёло обращался къ разнымъ лицамъ за совътомъ и помощію. На этотъ разъ все было напрасно. Я попробоваль было потревожить даже сфдаго и краснаго старичка, отставного учителя гимназіи, который жиль у нась на краю города въ своемъ собственномъ домѣ, въ три окна на улицу. Онъ слылъ у насъ свътиломъ учености, и всъ знали, что у него въ кабинетъ стоять какія-то книги въ бѣлой кожѣ. Но на мою просьбу онъ откровенно сказалъ мнъ, что онъ, и когда учился, не зналъ хорошенько логариемовъ, а съ тѣхъ поръ, занимаясь другими предметами, успель совершенно позабыть ихъ.

"Дѣлать было печего. Ученость моего родимаго городка была, очевидно, исчериана мною до дна, и нужно было положиться на собственвыя силы. Сидѣлъ я сидѣлъ надъ книгою, думалъ-думалъ, и кончилъ-таки тѣмъ, что одолѣлъ логариемы. Помню свою радость; номню восторгъ, въ который пришелъ мой уніатъ. Когда онъ убѣдился, что я не обманываюсь, когда увидѣлъ, что я понимаю лучше и быстръе сго, добрый старикъ чуть не заплакалъ отъ удовольствія. Онъ называлъ меня геніемъ, онъ предвѣщалъ мнѣ великую и славную будущность. Увы! Онъ, какъ видно, не зналъ, что есть въ жизни тысячи и тысячи вещей, которыя гораздо труднѣе сдѣлать, чѣмъ самому понять логариемы!

"Обращаюсь къ своему разсказу. Такимъ образомъ, къ шестнадцати годамъ, то есть какъ разъ къ наименьшему законному сроку, я вполнѣ приготовилъ себя къ поступленію въ университетъ. Оставалось только добраться до университета. Видя мон успѣхи, какія-то добрыя души пожертвовали на мою поѣздку двадцать рублей серебромъ.

"На эти деньги нужно было добраться до Петербурга, а до него было полторы тысячи версть. Поъхаль я одинъ. Часть дороги сдълаль на баркѣ, которую тянули бичевою, другую часть на троечникахъ, въ рогожной кибиткѣ напереди повозки.

Меня надули рубля на три, а впрочемъ я дойхалъ благополучно.

"И вообще, тутъ уже все пошло благополучно и не было нужды въ какихъ нибудь особенныхъ усиліяхъ. При самомъ вступительномъ экзаменъ, профессора тотчасъ замѣтили, что я самоучка, и это послужило мнт въ великую пользу. По отмъткамъ, которыя я получиль, не только меня приняли въ студенты, но даже дали мну стипендію, шесть рублей серебромъ въ мѣсяцъ. Годъ и пробился на эти деньги, но увидёль, что дёло идеть плохо, и перешель въ медицинскую академію, гдф такъ легко принимали на казенный счеть. Тутъ кончились мои первыя волненія. Книгъ передо мною открылись цёлыя библіотеки. Лекцін, лабораторін, музеи-все было къ моимъ услугамъ. Оставалось только работать. И я работаль со всёмь успёхомъ, какого только могъ желать. Я одолввалъ курсъ за курсомъ, предметъ за предметомъ; всегда быль изъ самыхъ лучшихъ, всегда получалъ похвальные отзывы и медали; наконецъ, достигъ ученыхъ степеней и правъ, съ ними сопряженныхъ; но главное-вполнъ достигъ права считать себя образованнымъ человѣкомъ.

"Да онъ хвастунъ и самохвалъ! въроятно сказали бы многіе, прочитавши это. Но на васъ я надъюсь, вы этого не скажете. Вы хорошо пови-

маете, что во всемъ, что я сейчасъ разсказалъ, я не приписываю себъ никакого достоинства. Такъ я смотрёль на это дёло оть самыхь юныхъ літь, такъ смотрю и теперь. Меня всегда нѣсколько удивляли обыкновенныя рѣчи о "вліяніи среды", "борьбъ съ гнетомъ обстоятельствъ" и т. п. Такъ какъ я былъ глубоко чуждъ жизни, то мнъ казалось, что среда не имфетъ надо мною никакой власти, что у нея нфтъ, такъ сказать, никакой точки приложенія ко мнъ. Поэтому, мое отношеніе къ средъ всегда было таково, что не она на меня дъйствовала, а я на нее. Я налегалъ на нее и она подавалась и очищала мнѣ дорогу; всякій шагь нужно было завоевать, но я не видель туть ничего странпаго. На всякое встрѣчное препятствіе я смотрёль точно такъ, какъ обыкновенно смотрять на экзамены. Выдержань экзамень-хорошо; невыдержанъ-значить, не стоишь того, чего добивался. Была у меня силёнка, я и работалъ ею, въ полной увъренности, что завоюю столько, сколько соотвътствуетъ размърамъ моей силы. Поэтому, я никогда ни на что и ни на кого не жаловался, никого не обвинялъ въ моей судьбъ; я считаль это стыдомъ и малодушіемъ.

"Въ самомъ дѣлѣ, если бы я былъ человѣкъ вполнѣ живой, если бы жизнь несла меня своею теплою волною, кружила меня своими круговоро-

тами, увлекала въ ту или другую сторону, я могъ бы иногда, оглянувшись, пожаловаться на уносившее меня теченіе. Но этого не было; я въ полномъ смыслѣ слова самъ создавалъ свою судьбу; я привыкъ къ этому съ дътства и долго думалъ, что это совершенно въ порядкъ вещей. Слъдовательно, тутъ не могло быть ни жалобъ, ни гордости. Прибавьте къ этому, что силу свою я считалъ вовсе небольшою; вокругь себя я всегда видёль людей, которые были сильнее меня; мне приходилось постоянно напрягаться, и все-таки, какъ ни трудно бывало мнъ, я никогда не приходилъ къ мысли, будто я имъю на что нибудь право безъ соотвътствующаго усилія съ своей стороны. Поэтому, я не завидовалъ и не гордился. Въ каждой неудачъ и въ каждомъ своемъ нелостаткъ я обвинялъ только самого себя. Я смотрълъ самъ на себя, какъ скульпторъ на свое произведение, я самъ себя лёпиль и обтачиваль. Живо помню, что у меня нѣкоторое время мелькала мысль-измѣнить черты своего лица, сдёлать ихъ более правильными. Я не остановился на этой мысли только на основаніи того соображенія, что было уже поздно, и потому ограничился увфренностію, что если не черты, то выражение лица все еще вполнъ отъ меня зависитъ.

"Таковъ былъ этотъ странный взглядъ, это

противоестественное настроеніе, которое, однакоже, какъ я вамъ докладывалъ, было вложено въ меня самою природою. Въ нёкоторыхъ случаяхъ, эта противоестественность обнаруживалась очень явно, но я не обращалъ на нее вниманія. Были, наприміть, науки, которыя не гармонировали съ естественнымъ складомъ моего ума; но я ломалъ себя, и добивался-таки хорошаго изученія.

"Всего хуже здѣсь было то, что все это время я быль очень доволень собою. Пока я себя обучаль и образовываль, пока достигаль до того, что, подобно Гамлету Щигровскаго уѣзда, наконець "понималь Гегеля и зналь Гёте наизусть", я воображаль, что занимаюсь чрезвычайно важнымь дѣломь, и очень радовался, что оно идеть успѣшно. Между тѣмъ, этотъ успѣхъ служилъ къ моей пагубѣ. Онъ ослѣпляль мепя, отвлекаль мое вниманіе и даваль полный просторь моему странному душевному направленію.

"Пока я читалъ книги и изучалъ всякія науки, отчужденіе отъ жизни во мнѣ развилось и выяснилось въ отчетливыя формы. Этихъ формъ двѣ: положительная и отрицательная. Положительная состоитъ въ томъ, что мы создаемъ для жизни идеалъ, отрицательная—въ томъ, что мы дѣйствительную жизнь ни въ грошъ не ставимъ.

"Очень рано началась у меня идеализація, и

такъ сильна была она, что, опять, я могу приписать ее только своей природѣ, а не чему другому. Съ дътства передо мною стали носиться какія-то чудныя, радужныя явленія. Неизвъстно откуда, изъ какой-то недостижимой глубины души возникли во мнъ свътлые образы, чистыя чувства, сладкіе звуки, представленія героическихъ чувствъ и дъйствій. Гдѣ и какъ все это существуеть, я не зналь, но твердо върилъ, что все это не только есть, но и непремънно должно быть. Очерки этихъ видъній были неопредѣленные, но несмотря на то, они потрясали меня до глубины сердца, владёли всею моею душою. Какъ будто какой-то огромный и прекрасный міръ таинственно прикасался ко мнѣ; какъ будто совершались какія-то сверхъестественныя откровенія.

"Не могу описать всей прелести, всей высоты, всей ослѣпительной яркости, въ которой являлись передо мною идеалы. Это было дѣйствительно царство свѣта и красоты. Удивительныя молніи, безконечно-прекрасныя зарницы безпрестанно вспыхивали въ моей душѣ. Казалось бы, откуда имъ было взяться? А между тѣмъ, онѣ заливали всего меня своимъ сіяніемъ.

"Я выражусь вполнѣ точно, если скажу, что у меня все стало двоиться въ глазахъ, и что это двоенье понемногу укрѣпилось и стало хрониче-

скимъ. Каждый предметъ, который занималъ и поражалъ меня, являлся мнѣ вдвойнѣ: во первыхъ, въ своемъ идеальномъ видѣ, и во вторыхъ—въ своей дѣйствительности. Эти два образа отдѣлялись одинъ отъ другаго чрезвычайно рѣзко. Смѣшать ихъ или слить я никакъ не могъ и вѣрилъ не въ дѣйствительный, а въ идельный. Поясню это примѣрами.

"Изъ дѣтства на меня сильно дѣйствовали звонъ колокола, сіяніе луны, церковное пѣніе, дымъ кадила, стихи, и тому подобное. Но это дѣйствіе было не простое, а всегда, такъ сказать, преломленное и отраженное.

"Звонъ колокола возбуждалъ во мнѣ высокое и чистое благоговѣніе. Но при этомъ мнѣ всегда воображался другой храмъ и другой народъ, спѣшащій по звону въ храмъ. Наша же церковь, по моему, не гармонировала съ этимъ звономъ; я зналъ, какъ опа стара и бѣдна; и народъ, собиравшійся на звонъ, я также зналъ; я зналъ, что въ немъ нѣтъ благоговѣйнаго чувства, которое отзывалось во мнѣ.

"Любилъ я свътъ луны и всегда любовался лунными ночами. Но при этомъ мнъ неотступно мерещилась какая-то невъдомая сторона, какіе-то чудные сады и зданія, на которые падаетъ, или могъ бы падать, или долженъ бы былъ падать этотъ самый лунный свътъ. "Дымъ кадила, проръзываемый лучами солнца, казался мит чёмъ-то величественнымъ и необыкновенно ласкалъ мой глазъ. Но меня возмущала кадильница, измятая, закопченная. Притомъ мит воображался другой, совершенно чистый, идеальный дьяконъ. А этотъ.... я вёдь его знаю, онъ человъкъ хотя лысый, но дрянной и глупый; вижу я, зачёмъ онъ посматриваетъ по сторонамъ во время своихъ поклоновъ, и никакъ не могу я помириться съ его грязными пальцами и нелёпо сложеннымъ кулакомъ.

"Всего яснъе дъло будеть на стихахъ. Казалось бы, чего проще? Любишь стихи, вотъ они на лицо, наслаждайся ими. Но мое наслажденіе было далеко неполно. Я чувствоваль, что ни я, ни другіе не умъють произносить стихи; я воображаль ихъ въ чистыхъ устахъ человъка, который самъ полонъ возвышенныхъ чувствъ, изображаемыхъ ими; въ этомъ идеальномъ чтеніи, казалось мнъ, они получають такое благозвучіе и трогательную силу, что при одномъ представленіи слезы набъгали мнъ на глаза.

«И вотъ, изъ такихъ образовъ и мечтаній я создалъ себъ цълый міръ дивной красоты, цълую жизнь идеальнаго совершенства. Душа моя вся наполнилась этими образами, вся увлеклась этими стремленіями, вся жила этою жизнью. Какъ только

передо мною мелькнули первые проблески этого свътлаго міра, у меня была и могла быть только одна цъль—достигнуть его во что бы то ни стало, дойти до тъхъ людей, до явленій и фактовъ, которые вполнѣ принадлежатъ къ этому прекрасному міру.

«Я и пошель на встрѣчу къ нему, пошель съ твердой вѣрою и надеждою. И долго я шель, узнаваль много людей, видѣль много мѣсть, предавался многимъ запятіямъ, трудился усиленно и долго, и всетаки чувствовалъ, что я далекъ отъ обѣтованной земли. Казалось, она уходила передъ моими глазами по мѣрѣ того, какъ я подавался впередъ, какъ будто вся эта идеальная жизнь въ дѣйствительности была только миражемъ, только обманомъ воображенія.

«Но не будемъ забъгать впередъ. И говорю еще о годахъ своего ученія. Вы понимаете, что въ сравненіи съ моимъ идеальнымъ міромъ все окружающее меня должно было тускнѣть и обезображиваться. Отъ чистаго и яркаго свѣта, къ которому я обращалъ свои глаза, падала на дѣйствительность густая тѣнь ничтожества. Все, что я видѣлъ вокругъ себя, не имѣло въ моихъ глазахъ ни искры прекраснаго, все было грязно и мелко до высокой степени. И себя самого я считалъ существомъ ничтожнымъ, такъ что я не могъ прини-

мать себя даже за источникъ моихъ высокихъ мечтаній. Они были ибчто святое, я же быль пошлъ и грязенъ, хотя и возлагаль на себя большія надежды, хотя и объщалъ себь пробиться когда нибудь до того заколдованнаго міра, гдѣ все было такъ прекрасно и высоко. Но временамъ я чувствовалъ сильное отвращеніе къ самому себь и ко всему, что мнѣ ни принадлежало, къ моимъ рукамъ, къ платью, къ сапогамъ, къ моему голосу и проч.

«Изъ этого вышло нѣчто не совсѣмъ хорошее. Пока я учился, пока занимался такимъ важнымъ дъломъ, я сталъ очень небрежно слъдить за собою въ другихъ отношеніяхъ. Я отлагаль свою жизнь до другаго времени, я воображалъ, что только готовлюсь къ жизни, а между тъмъ я уже жилъ и только не хотълъ замъчать, что я живу. Я дружился и ссорился, радовался и злился; состраданіе, самолюбіе, чувственность-всякаго рода страсти и страстишки заговаривали во мнъ. Но я смотрѣлъ на нихъ презрительно, я все это не ставиль въ счеть; такимъ образомъ, эти первые всходы добра и зла не укрѣпились и не разрослись, а дали пустоцвътъ. Это было очень дурно. Я смотрълъ свысока на то, что любилъ, и не отдавался ему всею душою. Живыя и теплыя струи пробивались въ душъ глупаго мальчика, но онъ не давалъ имъ цѣны, и онѣ изсякали. Съ другой стороны, я относился къ злу съ такимъ же равнодушіемъ. Случалось, что я лгаль, обманываль, дълалъ маленькія подлости, и все это не ставилъ въ счетъ, не думалъ, чтобы это марало меня и клало на меня пятно. Послъ всякой такой случайности я отряхивался, какъ гусь, попавшій въ воду, и думалъ: все это вздоръ; когда я начни жить, у меня, разумфется, ничего подобнаго не булетъ. Точно также, въ первую эпоху юности, когда всего меня охватила жгучая жажда наслажденій, я пиль, развратничаль и предавался всякимъ мерзостямъ, но никогда, даже въ минуты самаго сильнаго чада, я не отдавался потоку внолнъ, и все думалъ: это такъ, мимоходомъ, не въ счетъ настоящей жизни. И въ самомъ д'ялъ, мнъ казалось, что разныя гадости, въ которыхъ мнъ случалось запачкаться, спадали съ меня какъ шелуха, что я оставался цёломудренъ послё всякаго распутства. Въ сущности же было не такъ; силы тратились и на душу ложились неизгладимыя черты.

«Такимъ-то страннымъ образомъ, пока я учился, я все откладывалъ, все выжидалъ, все готовился; а когда кончилось ученье, оказалось, что я ровно ни къ чему не готовъ. По выходъ изъ академіи, я сейчасъ почувствовалъ страшную неловкость. Посл'я первых попытокь, я опять на насколько л'ять боязливо зарылся въ книги; но нужно же было наконець перестать прятаться; волей-неволей—я выступиль въ жизнь, я началь наконець настоящую жизнь.

«О молодость моя, молодость! Какъ трудно ты мив досталась, какъ дорого мив стоила! Эти годы, для другихъ такіе свётлые и радостные. были для меня годами муки и тяжелой, безотралной борьбы. «Живу я»—говорить Гамлеть Щигровскаго увзда-«словно въ подражание разнымъ мною изученнымъ сочинителямъ, въ потъ лица живу: и учился-то я, и влюбился, и женился, наконецъ, словно не по собственной охотъ, словно исполняя какой-то не то долгъ, не то урокъ-кто его разбереть! > Вотъ нѣчто подобное случилось и со мною. Сталь я жить въ подражание того, какъ должно жить, какъ следуеть жить. Сталь я ломать себя и сталь изъ себя строить Богъ знаеть что. Какихъ масокъ я на себя не надѣвалъ! Какихъ гримасъ не корчилъ! Бывалъ я п вдохновеннымъ юношею, и мрачнымъ страдальцемъ; говорилъ я на разные голоса, то чрезвычайно нѣжно и плавно, то отрывисто и съ восклицаніями, было даже время, что я наклоняль голову на лѣвую сторону, чтобы походить на Александра Македонскаго.

«Но между тёмъ, какъ я кривлялся такимъ обра-

зомъ, холодная тоска грызла меня и не давала мев заиграться. Фальшь! Маска! Комедія! Этотъ голосъ постоянно раздавался во мев. Одну за другою бросалъ я свои гримасы; я хотѣлъ настоящей, дѣйствительной жизни; и потому подражаніе скоро становилось мев глубоко противно.

«Здёсь именно мёсто коснуться важнаго предмета—моихъ любовныхъ похожденій. Хотя я началь ихъ рано, чуть ли не съ двёнадцати лётъ и упражнялся въ нихъ усердно, но, разумёется, я никакъ не могъ быть въ нихъ особенно счастливъ. Женщины не могли чувствовать большаго расположенія къ человёку, у котораго постоянно сидитъ какой-то странный гвоздь въ душё, и отдавади предпочтеніе другимъ, иногда даже весьма плохенькимъ господамъ, отъ которыхъ вёяло большимъ тепломъ и увлеченіемъ.

«А какія я глупости дѣлалъ — Боже, какія глупости! Когда вспомнишь, то и покраснѣешь, и головой мотнешь, и даже застонешь отъ досады! Увѣряю васъ, что никакимъ Чулкатуринымъ и прочимъ лишнимъ людямъ, какъ Тургенева, такъ и другихъ нашихъ писателей, въ этомъ со мной не сравниться.

«Кончилось все это тѣмъ, что я впалъ въ отчаяніе и рѣшился оставить всякую борьбу. Жизнь мнѣ не давалась. Ни одна черта изъ моего

идеальнаго міра не сбывалась на дёлё. Я чувствовалъ, что другіе пьютъ изъ этой чаши, но мнѣ, несмотря на всѣ мои усилія, не удалось и прикоснуться къ ней губами.

«Я опустиль руки. Я притихъ и замолкъ. Каждое свое слово я считалъ или сочиненіемъ, или глупостью, и потому я пересталъ говорить. Свою радость и печаль, свои отношенія къ людямъ, каждое свое движеніе я находиль или пошлымъ, или натянутымъ, и я постарался сократить ихъ сколько возможно. Я двигался и говорилъ лишь на столько, чтобы не показаться страннымъ, и былъ радъ, что меня не замѣчали.

«Такъ прошло нѣсколько лѣтъ. Я не побоялся бы тогда смерти, потому что жить мнѣ тогда рѣшительно было не для чего.

«И что же вы думаете? Вѣдь это прошло, какъ проходитъ тяжая, но не смертельная болѣзнь. Годы молчанія п тишины отрезвили меня и успокоили, какъ крѣпкій сонъ. Я думаль, однако, что мнѣ придется дойти до могилы въ этой сонной апатіп. Но случились со мной неожиданно вещи, отъ которыхъ я вдругъ сталъ просыпаться; я вдругъ почувствовалъ въ душѣ живыя, теплыя движенія и встрѣтиль ихъ съ неописаннымъ вссторгомъ. Пробудилась мысль и стала дѣйствовать; заговорило чувство — я сталъ понимать людей и

вступиль съ ними въ настоящія, непризрачныя отношенія; я захотёль говорить и сталь употреблять слова въ ихъ истинномъ смыслѣ. Я сталь думать своею головою, чувствовать своимъ сердцемъ, говорить своимъ голосомъ. Да, это приходила жизнь, это она, та самая, которая съ дѣтства плѣнила меня своимъ идеаломъ, которой я такъ долго искалъ, такъ ревностно добивался, по которой тосковалъ и приходилъ въ отчаяніе. И пусть немного мнѣ досталось ея на долю, пусть первые лучи ея я встрѣтилъ

Nel mezzo del cammin di nostra vita,

когда уже сѣдина стала прокрадываться въ волосы, пусть не сбудется и малѣйшая доля моихъ надеждъ, я все-таки, когда буду умирать, благословлю свою судьбу. Ибо глаза мои увидѣли спасеніе; ибо наконецъ во очію стало совершаться то, во что я такъ жарко вѣрилъ, въ чемъ полагалъ всю цѣль и все достоинство жизни.

«И притомъ, тутъ уже не было какого нибудь обмана или самообольщенія! Нѣтъ, я не могъ обманываться! Послѣ всѣхъ моихъ волненій, послѣ всѣхъ мучительныхъ усилій и попытокъ, послѣ всѣхъ мытарствъ, въ которыхъ я извѣдалъ всякую фальшь, всякое искаженіе и извращеніе души, — я уже могъ безошибочно различать дѣй-

ствительное и настоящее отъ призрачнаго и напускного. Я ясно видёль, что то, что я призналь за жизнь, въ чемъ ставилъ красоту и достоинство человъческаго существованія, то дъйствительно есть жизнь, а не что нибудь другое.

«Вы, можеть быть, поймете теперь мое спокойствіе, о которомь вы столько толковали. Я вовсе не счастливь. Но кто-же сказаль, что жизнь легка? Какъ могли возникнуть относительно жизни такія легкомысленныя понятія? Какимъ образомъ явились эти постоянныя дѣтскія надежды на сладость жизни, и какъ случилось, что люди до сихъ поръ не привыкли къ разрушенію этихъ надеждь? Можетъ быть, въ этомъ виновата та радость бытія, которая свойственна всякому живому существу; можетъ быть, это очень естественное заблужденіе, но во всякомъ случаѣ заблужденіе. Нѣтъ, жизнь есть нѣчто тяжелое, трудное, нѣчто ѣдкое и глубокое, потрясающее своею серіозностію.

«Какъ мы привыкли къ легкомыслію! Какъ мы легко въримъ тому, чего хотимъ! Мы привыкли думать, что истина, блаженство и красота такъ и сіяютъ надъ міромъ, такъ и заливаютъ его своими лучами, что ихъ такъ легко достигнуть, такъ нетрудно, пожалуй, даже обнять и исчерпать! А между тъмъ они недоступно-высоки и безконечно-необъемлемы. И потому безумно было бы, если-бы

человёкъ сталъ рваться и метаться изъ-за того, зачёмъ онъ не обладатель полной мудрости, ночему не сіяетъ передъ нимъ вёчная красота, отчего блаженство не наполняетъ до краевъ его души. Какіе бы прыжки мы ни дёлали, такихъ вещей прыжками не достанешь. Но святотатственно и кощунственно будемъ мы дёлать, если не будемъ благоговёть передъ тёми лучами, которые все-таки падаютъ на насъ изъ этой области свёта, если отвернемся отъ нихъ, вмёсто того, чтобы любить ихъ и жить ими, перенося изъ-за нихъ тоску и горечь жизни.

«Теперь мнѣ слѣдуетъ разсказать вамъ, какимъ образомъ случилось мое усмиреніе, въ которомъ я почувствовалъ себя счастливѣе, чѣмъ въ моей гордости, разсказать подробности того, какимъ образомъ уже не я сталъ управлять жизнью, а жизнь захватила и понесла меня. Съ такимъ слѣпымъ человѣкомъ, какъ я, это должно было случиться совершенно неожиданно. Такъ это и было. Это случилось такъ, что душу мою неожиданно поразили жалость, любовь и страхъ. Человѣкъ живетъ собственно сердцемъ.....

«Но вотъ меня зовутъ къ больному. Сердце-то кстати случилось. Прощайте пока. Авось доскажу въ другой разъ. Счастливы вы, что на меня напало нынче какое-то особенное расположение духа.

Ну что за занятіе — толковать о себѣ самомъ? Скажи мнѣ, что ты сдѣлаль, и я скажу тебѣ... Однако, не погудка ли это опять на старый ладъ гордости и безжизненности?

«Еще разъ прощайте, и пожалуста любите меня.

«20 марта 1865 г.»

Это письмо я получиль, какъ видять читатели, больше года тому назадъ. Съ тѣхъ поръ напрасно я упрашивалъ Павла Николаича продолжить свой разсказъ; онъ или молчалъ, или, присылая мнѣ письма совершенно инаго содержанія, отзывался на мои просьбы, что ему некогда. Я написалъ ему, что хочу напечатать этотъ отрывокъ изъ его ненаписанной повѣсти. Онъ отвѣчалъ мнѣ письмомъ, въ которомъ были только эти слова:

«Печатайте. И безъ того вѣроятно прочитали сорока своимъ пріятелямъ».

«Вашъ П. Т...ховъ».

30 апр. 1866 г.

Пусть теперь читатели судять, правъ ли я быль, полагая, что стоить напечатать этоть отрывокъ. 12 мая 1866 г.



Стихотворенія.

Комета.

(Писано въ 1859 г., когда видна была комета Донати).

Вотъ ночь, и странными лучами Опять небесный сводъ блеститъ: Межъ помраченными звѣздами, Ихъ застилая волосами, Звѣзда косматая горитъ.

Какъ будто, въ бѣшеномъ стремленьи Хвостъ разметавши за собой, Она, полна недоумѣнья, Остановилась на мгновенье, Надъ потемнѣвшею землей.

Невольно думаю: комета! Увы! Въ былыя времена Ты, какъ зловъщая примъта, Была бы ужасомъ полсвъта, Для мудреца и для поэта Томящей тайною полна. И я, средь черных размышленій, Тебя бы спрашиваль съ тоской: "Что ты? Какой грозящій геній, Властитель дольнихъ поколёній, Изъ тьмы небесь летить съ тобой?

"Или, какъ на стѣнахъ чертога Незримый нѣкогда писалъ, Такъ и тебя—не перстъ ли Бога, Какъ букву заповѣди строгой Огнемъ на небѣ начерталъ?"

Но, слава Вышнему! Познали Мы духъ, которымъ міръ хранимъ, Въка проклятья миновали, И думы страха и печали Прошли—и не вернуться имъ.

Передъ сіяньемъ мысли смѣлой Распался древній неба сводъ, И безъ конца и безъ предѣла Пространство мрака просвѣтлѣло И мірозданья тайный ходъ.

И нынѣ, радостно, комета, Гляжу я, какъ блистаешь ты; Ты не грозящая примѣта,— Для взора вѣщаго поэта Ты—искра будущаго свѣта Среди царящей темноты.

Настанутъ дни—міръ обновится, И человѣкъ, согбенный въ прахъ, Надъ міромъ смѣло воцарится И ничего не устрашится Ни на землѣ, ни въ небесахъ.

Грёзы.

Въ тиши моей жизни ничтожной, Въ досадъ пустыхъ огорченій И въ шумъ пустаго веселья Дремлю я душою тревожной.

Но, полный тяжелой дремоты, Я чувствую,—сердце тоскуеть, И снится, и грезится вѣчно Ему—непонятное что-то.

Какіе-то дни золотые, Какія-то дивныя рѣчи, Какія-то крѣпкія силы И мысли и чувства святыя.

И мѣсяцъ, и звѣзды, и розы, Какая-то грусть безъ предѣла, И ласки, безумныя ласки, И слезы, горячія слезы.

Несчастны мы.

Несчастны мы! Отъ юныхъ дней Средь жизни будничной и нищей Мы вскормлены святою пищей Высокихъ мыслей и ръчей.

Мы, какъ сокровище, до гроба Въ душъ безсильной ихъ хранимъ, А сами—каждый день творимъ Дъла безсмыслія и злобы.

И тоть, кто тайну высшихь благь Постигнуль мыслію безгрёшной, Кто каждый день—объ этихь дняхь Скорбить душою безутёшной,

Когда онъ свѣть души своей Во тьмѣ идущимъ предлагаеть— Несчастны мы!—отъ юныхъ дней И мысль, какъ дѣло, погибаетъ!

1854.

Юность.

О, юность, юность, все ты молода!
Растущая кипить и рвется сила;
Собой и міромъ вѣчно ты горда,
Какъ будто нынче небо міръ покрыло
И шумная въ моря стеклась вода,
И ночью вдругъ зажглись небесъ свѣтила;
Какъ будто солнце всходить въ первый разъ
И въ первый разъ забилось сердце въ насъ.

Давно ужь всходить солнце! И'—съ начала Съ тъхъ поръ, какъ человъческимъ очамъ Оно въ сіяньи первомъ заблистало, Знакомъ восторгъ, знакомы муки намъ; Мольбой и стономъ небо прозвучало, И было время думамъ и дъламъ; Но юныхъ душъ безумство не остыло—Гордится умъ, кипитъ и рвется сила...

Заботы.

Насъ гонятъ! Слышите, свиститъ Бичей размахъ неумолимый? Смотрите-черный рой летить, То рой заботъ неотразимый. Имъ нътъ числа, имъ нътъ конца, Все тѣ жь, а кажутся другими; Не обращая къ нимъ лица, Мы убъгаемъ передъ ними. Летимъ. Мелькаетъ день за днемъ, Мелькають годы за годами; Не время думать надъ путемъ И любоваться сторонами, Не время радоваться намъ И вспомнить и взгрустнуть не время; Что мимо-то осталось тамъ! Ничто не дорого, все бремя. Все-чувство, слово-тяжело; Бичъ свищеть безпощадно-строгій, И свътъ ума, души тепло Бросаемъ въ искрахъ по дорогъ. И бъдны свътомъ и тепломъ Спѣшимъ, сначала нодымаясь Все выше, выше, а потомъ-Невозвратимо опускаясь. Летимъ, смыслъ жизни потерявъ; Тамъ бездна!... Что она? Не знаемъ! И не опомняся, стремглавъ Въ ту бездну мрака упадаемъ. 1853.

Жизнь.

Есть трепеть — присущій Природ'є и жизни людской, Есть гласъ — вопіющій Въ пустын'є души молодой.

Внезаино и смутно Промчится таинственный громъ, И видится — чудно Въ ночи непробудной Тъма міра сверкнула огнемъ.

И небо и землю, И жизни красу и печаль Я взоромъ объемлю, И вижу, и внемлю— Хаоса безбрежную даль.

Безумно отважно Гляжу я на ходъ міровой, И дивно, и страшно Свершается жизнь предо мной.

1857.

Міръ.

Мить мірт непонятный тревожить Всю душу мою изумленьемть, И сердце затихнуть не можетъ, Конца не найду размышленьямть.

И рвется душа — подѣлиться Таинственнымъ чувствомъ и словомъ, Что̀ Богъ-вѣсть откуда родится, Что̀ кажется вѣчнымъ и новымъ.

И знаю, куда ни пойду я, И сколько жить небо ни судить, Міръ дивный все тоть же найду я, Все сердцу покоя не будеть.

Ужели — незримой тропою, Безмольно тая изумленье, Задумавшись мыслью живою, Пройду я до гроба и тлёнья?

Или — эту мысль безъ границы И всю изумленья тревогу На бълыя бросить страницы, Какъ жертву незримому Богу?

1855.

Не върь себъ.

Въ минуту слабости душевной Не вѣрь, не вѣрь себѣ, поэтъ! Все ложно въ жизни повседневной, И лжи въ одномъ восторгѣ нѣтъ.

Смотри,— не знають люди сами, Что ихъ волнуеть и влечеть; То — кровь горячими струями Въ ихъ сердив трепетномъ течетъ.

И дётямъ радостнымъ подобны, Безъ мёры мыслей и страстей, Они безжалостны и злобны, Какъ дёти въ резвости своей.

Не дорожи же ихъ участьемъ, За ихъ хвалою не гонись, Не дорожи житейскимъ счастьемъ И ни предъ къмъ не преклонись.

Лишь безпорочный духъ поэта, Какъ высшій даръ, не погуби, И твой восторгъ, какъ искру свъта Во мраки жизни, возлюби.

Въ минуту слабости душевной Не вѣрь, не вѣрь себѣ, поэтъ, Все ложно въ жизни повседневной, И лжи въ одномъ восторгѣ нѣтъ. 1853.

E. E.

Кто крѣпокъ и богатъ душою, Тотъ межъ людей царемъ глядитъ: Однихъ любовью онъ даритъ, Другихъ казнитъ своей враждою.

Но ты, несчастное созданье, Душою скуденъ ты и хилъ; Самъ у людей всю жизнь просилъ Ты крохъ любви, какъ подаянья, И, какъ огонь, тебъ всегда Была страшна людей вражда.

1878. Воробьевка.

E. E.

Онъ ходитъ тихо межъ людей,
Но преданъ странному занятью:
Все ищетъ онъ въ душѣ своей,
Кого бы, по лицу, по платью,
По складу мыслей и рѣчей,
Предатъ презрѣнью, иль проклятью;
Какъ будто вѣчно въ страхѣ онъ,
Что самъ за что-то осужденъ,
И тайной гордости движенье
Ему единое спасенье.

Воробьевскій паркъ.

Когда душа твоя чиста, И безмятежно сердце бьется, Ступай туда, гдъ тънь густа, Гдъ жаркій лучь сквозь вътви рвется.

Тамъ будетъ все тебя ласкать: Свётъ, воздухъ, чудный видъ съ дорожки. И золотыя будутъ мошки Вкругъ головы твоей мелькать.

Но если духомъ ты взволнованъ И шевелится страсть въ груди, Въ мой паркъ ты лучше не ходи: Онъ тайной силой зачарованъ.

Тебя лучь солнца обожжеть,
Пень самъ подъ ногу подвернется,
И видъ чудесный пропадеть,
Клещъ жадный въ грудь тебъ вопьется,
И будутъ жалить мухъ полки
Твой лобъ и шею, и виски.

Эстетику.

Не міръ хорошъ, а хороша
Въ тебъ порой твоя душа,
И не гармонія природы
Звучить среди лѣсовъ и водъ,
А сердце, въ чистый мигъ свободы,
Само въ груди твоей поетъ.

Поэту.

Коль ужь поэтомъ стать рѣшился, То не виляй и не хитри: Что на душѣ, каковъ родился, Чѣмъ дышишь, то и говори.

E. E.

И осторожно, и небрежно По тропкъ жизненной плетусь, И всякой дряни я боюсь, Но не того, что неизбъжно.

1884.

Ночь.

(П. А. Кускову).

Какъ щитъ Полна, Горитъ Луна; Шумитъ Волна, И полнъ Тоски Плескъ волнъ Ръки.

Сплелись, Слились И свѣть, И мгла, И нѣтъ Числа Звѣздамъ Небесъ. Спить лѣсъ, И тамъ Дрожатъ Листы, И спять Цвѣты. Кругомъ Давно Все сномъ Полно; Но сонъ Души Тоской Смущенъ Въ тиши Ночной. На грудь Налегъ Рой думъ; Мой путь Далекъ, Угрюмъ.

Жалоба.

Какъ смутный сонъ уходять дни за днями И каждый день дня прошлаго блёднёй; Не дышить умъ высокими мечтами, Нёмое сердце спитъ среди людей; Безсиліемъ, какъ тяжкими цёпями, Я удрученъ во цвётё лучшихъ дней, И я томлюся жизнью безотрадной, Какъ язвою мучительной и смрадной.

Зачёмъ же ты, жестокая судьба, Въ меня святую искру заронила? Зачёмъ тобой мнё суждена борьба И не дана властительная сила? Зачёмъ рука и грудь моя слаба, А ты огонь горящій въ нихъ вложила, Огонь живой негаснущихъ стремленій, Огонь стыда и горькихъ сожалёній?

1853.

Изъ "Идеаловъ" Шиллера.

Какъ нѣкогда съ мольбою и желаньемъ Пигмаліонъ свой камень обнималъ, И чувства жаръ зажегся подъ лобзаньемъ И въ мраморныхъ ланитахъ запылалъ,— Такъ обвивалъ влюбленными руками Природу я въ восторгѣ молодомъ, Пока дохнула страстными устами И стала грѣть мнѣ грудь живымъ тепломъ.

И, жаркія желанья раздёляя,
Нёмая вдругъ языкъ нашла,
Мнё поцёлуй любовный возвращая,
Сердечный крикъ мой поняла.
Дышала роза, дерево шептало,
И сладко пёлъ серебрянный ручей,
И неживое чувствомъ трепетало,
Откликнувшись на жизнь души моей.
1851.

Воспоминаніе.

Все помню: звукъ морскихъ зыбей, И крестъ надъ дружеской могилой, И какъ зажегся образъ милый Въ душъ померкнувшей моей:

Черты—блѣднѣе изваянья, Но жизнь во взорѣ молодомъ, И въ сердцѣ трепетно-больномъ Великодушныя желанья.

Влагословенны вы стократь! Мой вечеръ гаснетъ безнадежно, Но вы взошли звъздою нъжной На мой блъднъющій закатъ. 1886.

Извиненіе.

Душа моя еще звучна, Всѣхъ струнъ ея я самъ не знаю, И часто жадно я внимаю, Какъ въ глубинѣ звучитъ она.

Невольно я отвётилъ пѣньемъ На задушевный звукъ рѣчей, Вниманье дѣвственныхъ очей Невольнымъ встрѣтилъ умиленьемъ.

1887.

Дума.

Покой и свётъ вокругъ меня; Всё узы міра я оставилъ, На чистый пламень бытія Я взоръ души своей направилъ.

Но часто тусклъ усталый взглядъ, Но язвы давняго растлѣнья На сердцѣ старомъ вновь горятъ, И меркнетъ радостное зрѣнье.

Богъ милосердъ! Онъ мнѣ пошлетъ Свое святое испытанье, Онъ зло мое во мнѣ сожжетъ Огнемъ предсмертнаго страданья. 1888.













PG 2947 S7A3 1892a Strakhov, Nikolai Nikolaevich Vospominaniia i otryvki

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

